

ВАЛЕНТИН
ПИКУЛЬ



ФАВОРИТ



Фаворит

Валентин Пикуль

**Фаворит. Книга первая.
Его императрица. Том 1**

«ВЕЧЕ»

1984

Пикуль В. С.

Фаворит. Книга первая. Его императрица. Том 1 / В. С. Пикуль —
«ВЕЧЕ», 1984 — (Фаворит)

ISBN 978-5-4444-8937-6

Роман «Фаворит» – многоплановое произведение, в котором поднят огромный пласт исторической действительности, дано широкое полотно жизни России второй половины XVIII века. Автор изображает эпоху через призму действий главного героя – светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, фаворита Екатерины II; человека сложного, во многом противоречивого, но, безусловно, талантливого и умного, решительно вторгавшегося в государственные дела и видевшего свой долг в служении России.

ISBN 978-5-4444-8937-6

© Пикуль В. С., 1984

© ВЕЧЕ, 1984

Содержание

От автора	6
Его императрица	7
Рождение. (Вместо пролога)	7
Действие первое. Маленькая принцесса Фике	11
1. Девочка из Померании	11
2. Политическая прелюдия	14
3. Дорога на восток	18
4. Бесприданница	22
5. Екатерина Алексеевна	26
6. Игры в куклы	30
7. Нет, нет – да, да!	33
8. Начинается Екатерина	37
Занавес	41
Действие второе. Студент ея величества	44
1. Кормленье и ученье	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Валентин Пикуль
Фаворит. Книга первая.
Его императрица. Том 1

© Пикуль В.С., наследники, 2007

© ООО «Издательство «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

От автора

Пушкин предрекал: «...имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории», а Герцен позже писал, что «историю Екатерины Великой нельзя читать при дамах». Имена этих людей, спаянных единой страстью и ненавистью, общими викториями и поражениями, нерасторжимы в давности русской. Потемкин никогда не стал бы «князем Таврическим», если бы его миновала любовь Екатерины, но и она не рискнула бы титуловаться «Великой», если б ее не окружали русские люди, подобные Потемкину!

Летопись придворного фаворитизма в России часто писалась дегтем на кривобоких заборах. Однако в бесконечной череде куртизанов встречались и умные люди, страстные патриоты: они дерзко вторгались в Большую Политику, управляя не только коронованной любовницей, но и всем государством.

Среди таких баловней счастья, первое место принадлежит светлейшему князю Потемкину-Таврическому, и громадное значение его деятельности в истории развития нашего Отечества уже никем не оспаривается.

Петр I удачно разрешил проблему Балтийскую.

Потемкину выпала честь завершить проблему Черноморскую.

Именно этот человек и станет нашим главным героем.

Роман «Фаворит» является логическим завершением моих прежних исторических хроник «Слово и дело», «Пером и шпагой». Я старался не повторять самого себя, и потому некоторые эпизоды романа написаны с учетом того, что читатель уже знаком с предыдущими фактами, а значит, ему понятна взаимосвязь событий...

В этом романе только один вымышленный герой, но образ его создан на основе подлинных фактов. Все остальные – достоверные личности, а диалоги их подтверждены перепискою и другими документами той эпохи.

Его императрица

Счастье не так уж слепо, как обыкновенно думают. Чтобы лучше доказать это, я построю следующий силлогизм: Первая посылка – качества и характер. Вторая – поведение. Вывод – счастье или несчастье.

Из старинной сентенции

Рождение. (Вместо пролога)

Доцветали на Москве сады и огороды, душно было.

В окна залетали пчелы, гудя отяжеленно – к дождю.

На соседнем дворе князей Хованских бранились прачки, хлестали одна другую жгутами мокрого белья.

И плыл в небе змей бумажный – детишки баловались.

– Эх! – сказал инвалид. – Налью-ка остатнюю...

Конечно, ежели тебе уже на седьмой десяток, а ты в секунд-майорах засиделся, то фортуна злодейская пророчит явное: генерал-аншефом тебе, красну молодцу, не бывать. От этого предвидения майор полков пеших пребывал в давнем унынии и водку потреблять изволил, кою и закусывал карасями тушеными.

1732 год обозначился тогда на Руси...

Издавна ведомо, что воинство инвалидами украшается. А когда от покалеченных уже невмоготу, разгоняют их по домам, дабы, на полатах отлеживаясь, они язвами своими никому глаза не мозолили. Был зван и майор в коллегии воинскую – ради учинения смотра врачебного. А ежели для геройства батального негоден, будут абшид ему давать без пенсии. Опохмелясь щами прокисшими, исправно пошел он себя комиссии предъявить. За столом присутствия сиживали чины некие, весьма лютые.

– Назовись, – потребовали, – кто таков, и поведай нам о страданьях своих. Но языка не трепли попусту, а докладывай экстрактно, потому как время обеденное, а мы с утра раннего сидим тут не пивши, не евши – калеками разными утруждаемся...

Майор толковый рапорт учинил для комиссии:

– Зовусь я Ляксандром Потемкиным, сын Васильев; дворянин роду старого, именишки мои в провинциях Пензенской да Смоленской; душ крепостных имею с полсотни; в супружестве – да! – сопряжен, но за давностию лет жены не помню, а детками боженька обидел...

Затем, раздеваясь, стал майор инвалидностью наглядно хвастать: под Азовом из лука татарского в бок стрелен, под Нарвою прикладом шведским по черепу шарахнут, у Риги порохом обожжен изрядно, под Полтавою палашом зверски рублен, а в несчастном Прутском походе рука колесом мортиры помята, отчего персты худо гнутся. Но тут усмотрел он в ряду начальственном «бывого» солдата, который у него раньше в подчинении состоял. А теперь проныра солдат, происхождения «подлого», сам будучи майором, за столом комиссии красовался – при шпаге и португее с шарфом.

– А ты, гнида, каким побытом середь дворян затесался?

На что ему было ответствовано: чтобы шумства не учинял, иначе его под руки выведут и в протокол вставят. Майор Потемкин поспешно напялил портки, мундир застегнул проворно:

– И пропади вы все с абшидом без пенсии! Лучше уж сгнию в инфантерии, а посрамления чести шляхетской не потерплю...

Через два года после этого казуса, в уважение инвалидности, отставку Потемкину все-таки дали.

– Езжай, – велели начальники, – до дому своего и сиди там тихонько. Время сейчас таково, что бубнить по углам не пристало...

Было время правления Анны Иоанновны – кровавой!

Александр Васильевич с Москвы-то съехал, но лошадок завернул не на Смоленский тракт, чтобы жену навестить, а занесло его в пензенские края, в убогое именишко Маншино, что лежало на Киевской дороге. Тут его и попутал лукавый!

Вот уж истинно: седина в бороду – бес в ребро...

...

Потемкин жену свою Татьяну и впрямь позабыл. От стола-то свадебного его сразу в инфантерию Петра I затолкали, и закувыркало недоросля в битвах да маршах, только успевай поворачиваться. Не оттого ли и не поехал он, сам старьей, на родную Смоленщину, чтобы не видеть жены, тоже старей?

А живя в своей деревеньке, заметил у соседей Скуратовых вдову молоденькую – Дарью Васильевну, что вышла из рода Кондыревых (была она на тридцать лет моложе майора). И полюбилось инвалиду в село Скуратово наезживать. Приедет – честь честью, всем дворянам поклон учинит, а Дарье Васильевне – персонально:

– Уж не кажусь ли я противен тебе, красавушка?

На что вдовица отвечала ему всегда прямодушно:

– Да вы, сударь, еще худого-то ничего не свершили, так с чего бы вам противным казаться?

И стал Потемкин соблазнять молодницу на любовь.

– Мужчины нонеча, – отнекивалась Дарья Скуратова, – очень уж игривы стали, мне, вдовице, опасаться их надобно.

– Так я... тоже вдов, – соврал ей Потемкин; стал он ласкаться к Скуратовым, на одиночество жалуясь, что, мол, негде и головы приклонить. – Вот ежели б Дарья-то свет Васильевна дни мои скрасила, – намекал майор, – так я на руках бы ее носил!

Скуратовы быстро уговорили невестку:

– Ты, дуреха, не реви: быть тебе из мичманского в ранге маеорском, а коли несогласна, так со двора нашего сгоним...

Пред святым аналоем стоя, Потемкин и священника обманул, что давно, мол, вдовствует. Дарья Васильевна понесла вскорости, лишь на шестом месяце тягостей нечаянно вызнав, что у мужа супруга жива на Смоленщине.

Встал старик перед иконами – повинулся.

– То так! – сказал. – Да не помню я первой своей. Одна ты мила мне... Уж прости – не изгоняй меня, увечного и сирого. Жизни-то у меня и не было: одни виктории громкие да веселья кабацкие...

Собрали они пожитки, поволоклись телегою на Духовщину – едут и горюют, друг друга жалеючи. Время было суровое, инквизиция духовная за двоеженство карала жестоко. Приехали в Чижово, а там старые ветлы склонились над ветхими баньками, из-под тележных колес с квохтаньем разбегались по обочинам курочки с цыплятками. Вот и дворянская усадьба Потемкиных – такая же изба, как у крестьян, только пошире да поусидистей...

Вышла на крыльцо жена. Они сразу в ноги ей пали, вымаливая прощение. Татьяна Потемкина сказала мужу:

– Я ведь тебя, Сашенька, до седых волос ждала. Бывало, от хлебца кусну, а сама плачу – сыт ли ты, в баталиях упражняешься? Все на дорогу поглядывала – уж не едешь ли? Вот и сподо-

бил господь-бог на старости лет: прилетел голубь мой ясный, да не один, а с голубицей молодой... Ишь как она чрево-то свое оттопырила! Сразу видать, что яичко снесет вскорости...

Потемкин угрюмо взирал на свою жену – первую.

Между ними валялась в пыли вторая, и быть ей (согласно уставам церковным) всегда незаконной, пока жива супруга первая.

Законная и спросила о том незаконную:

– Так что ж мне делать-то, чтобы счастье ваше благоустроить? Или уж сразу руки на себя наложить?

– Уйди вон... не мешай, – мрачно изрек Потемкин. – Постригись. Схиму прими. Тогда мы свободны станем... вот и все.

Старуха, горько плача, повязала голову черным платком, уложила в котомку хлеб да соль, взяла посох в руки и побрела за околицу. На прощание разок обернулась, сказала вещь-зло-вещь:

– Живите без меня, люди. Бог вам судья...

Потемкины отбивали ей поклоны земные и не распрямились до тех пор, пока горемычная не исчезла в буреломах лесной дороги, уводившей ее в монастырь – на вечное заточение.

Потом Дарья Васильевна говорила мужу:

– Вот накажет нас Бог, не видать нам счастья.

– Не каркай, – отвечал Потемкин, наливку медовую под яблонькой кушая. – А на что и нужна-то была она, ежели патлы – уже седые и клыки торчат? Едина дорога ей – под клобук, а мы с тобой еще пожиреум. Рожай первого, и второго быстро придумаем.

– Страшно мне с вами, сударь мой неизбежный... Как можете столь сурово с людьми невинными поступать?

И была за такие слова исхлестана плеткою.

– Мужу не перечь! – лютовал Потемкин. – Да целуй мне руку за то, что я, маеор, тебя супружеством осчастливил. Я ведь еще не проверял, каково ты блюла себя во вдовстве... Проверю!

...

Старая лошадь паслась у старых овинов, а из старого леса гукала старая сова-пересмешница, – это Смоленщина, порубежная земля русская, где под курганами усопли витязи времен былинных. Печальные шляхи тянулись через шумливые дебри – какие на Русь, а какие во владения Речи Посполитой; синие васильки глазели из ржи на проезжих панов, на баб с граблями да на нищих с торбами. Ближе к осени зачинались «рябиновые ночи» – черные, со страшным громом и треском ликующих молний: в такие-то вот ночи на Смоленщине вызревала ядреная и сочная рябина...

А ближайшими соседями чижовских помещиков были сородичи Потемкиных – Каховские, Энгельгардты, Тухачевские, Порембские и Высоцкие; наезжали из соседних Сутолок веселые богатыри – Глинки, которых особенно жаловала Дарья Васильевна, и когда Гриша Глинка заводил песню, молодая женщина радостно подхватывала:

Зашпегайце коней в санки,
мы поедем до коханки.
Ой, дзень, дзень, дзень –
мы умчимся на весь день...

После первой дочери Марфиньки родилась у Потемкиных вторая – Марьюшка, и Александр Васильевич подозрительно долго вглядывался в лик младенца, лежавшего в колыбели.

– Что-то уж больно на Глинок смахивает, – объявил он вдруг. – И нос не потемкинский, да и глаза не те...

– Да какой там нос, какие там глаза, – запричитала жена. – У деток молочных все образы на один манир.

Страшный удар в лицо обрушил ее на спину... Старик помешался на ревности. Жену отныне держал взаперти, неохотно выпускал перед гостями. Навещал его в Чижове двоюродный братец, Сергей Потемкин, неустанно подзуживал старика:

– Что ж ты, Сашка, за женою плохо глядишь? По всему повету слых тянется, быдто она молодых приваживает. Гляди сам строже, как бы она тебя, дряхлого, не извела настойками разными. Ей, думаешь, ты нужен? Не, ей только поместья твои надобны...

После таких наговоров Потемкин, весь трясясь, безжалостно стегал жену арапником, как доезжачий на охоте вредную собаку. Лишь однажды Дарья Васильевна за себя вступилась.

– Зверь! – крикнула она мужу. – Оставь терзать. Ведь я снова пузата. Рожу вот, а потом уж и добивай...

Настала золотистая осень 1739 года.

16 сентября, под вечер, Дарья Васильевна почувала близость родов и удалилась в баню, что ветшала на берегу тихой лесной речушки. Здесь она, корчась на полке, и родила сына.

Пришел грозный муж и спросил ее:

– От кого зачала погань сию, сказывай! – Взял ребеночка за ногу, как лягушонка паршивого, понес топить в речке. – Туда-т ему и дорога, – приговаривал, о корчаги спяна спотыкаясь.

Младенец, повиснув вниз головой, даже не пикнул. Потемкин встряхнул дитяtko еще разок над глубоким омутом, в котором тихо колыхались ленивые сомы и ползали черные раки.

– Так от кого же он? От Глинок иль от Тухачевских?

Звериный вопль матери огласил дремучий лес:

– Потемкин он... Уймись, кобель старый!

Так явился на свет божий Григорий Александрович – Потемкин, светлейший князь Таврический, генерал-фельдмаршал и блистательный кавалер орденов разных, включая все иностранные (кроме Золотого Руна, Святого Духа и Подвязки), генерал-губернатор Новой России, создатель славного Черноморского флота, он же его первый главнокомандующий, и прочая, и прочая, и прочая...

Действие первое. Маленькая принцесса Фике

Для Екатерины II наступила историческая давность... счета потомства с Екатериной II уже давно сведены. Для нас она не может быть ни знаменем, ни мишенью – для нас она только предмет изучения!
В.О. Ключевский

История царствования Екатерины II еще ждет критического изучения.
Сов. истор. энциклопедия

1. Девочка из Померании

Был апогей ее славы... Парики иноземных послов, склонявшихся перед престолом этой удивительной женщины, почти касались буклями драгоценных паркетов. Она любила хлесткие фразы, и сейчас вдруг вспомнила трагическую обмолвку Дени Дидро, который неосторожно сравнил Россию с «колоссом на глиняных ногах».

– Философия тоже ошибается: Россия – да, колосс, но покоится на ногах из чугуна уральского. А ведь это даже не страна...

– Так что же тогда? – пискнул кто-то сдавленно (представляя ничтожество Пармы или Тешена, Ганновера или Гессена).

– Вселенная, – отвечала императрица, и скипетр ее отразил сияние дня в алмазах из сокровищ Надир-шаха, а держава в другой руке озарилась мерцанием рубинов сказочной Голконды...

Всегда помня о вечности, она заранее составила автоэпитафию на свою могилу: «Здесь лежит Екатерина... она ничего не упустила, чтобы иметь успех. Снисходительная, любившая хорошо пожить, веселая по натуре, республиканка в душе и доброго сердца, она имела немало друзей; труд для нее всегда был легкий; общество и искусство ей постоянно нравились».

А кто она, эта женщина, откуда явилась к нам?

Любой исторический роман начинается с сомнений.

Еще при жизни Екатерины немецкие историки перерыли архивы церквей и магистрата Штеттина, так и не найдя ни единой бумажки, подтверждающей даже сам факт ее рождения. Пропажа официальных актов уже тогда вызвала подозрения: «Каковы же были серьезные причины, заставившие скрывать ее появление на свет? Что кроется за семейной тайной? Может, незаконность рождения?..»

Но мне, автору, не под силу разрешить эту историческую загадку, и мы, читатель, вынуждены покорнейше следовать тем версиям, которые давно сделались официальными.

...

Над унылыми дюнами Померании задували протяжные ветры; была запоздалая весна 1729 года, когда в доме благочестивого принца Христиана Ангальт-Цербстского и его не менее благочестивой супруги Иоганны Елизаветы в тихую лунную ночь родилась здоровая девочка, которую в честь ее трех теток нарекли по лютеранскому обычаю тройным именем – София Августа Фредерика.

Родители стали называть ее кратко – Фике!

Германия в ту пору кишмя кишела худосочными отпрысками немецких князей, которых расплодилось такое множество, что в их обширных родословных путались даже всезнающие генеалоги. Потому-то никому в Европе не было дела до девочки, и, туго запеленав новорожденную, ее доверили дремлющей от усталости акушерке... Давным-давно древнейший славянский Серпск обратился в германский Цербст, а его владельцы забыли славянское происхождение и даже оскорблялись, если им об этом напоминали. За несколько столетий существования дома Ангальт-Цербстского князя этой захудалой династии не дали германским хроникам ни одной яркой и даровитой личности, – напротив, Цербст поставлял к услугам Гогенцоллернов ограниченных офицеров, ничемных чиновников и безмозглых ротозеев, которые едва кормились от доходов своего крохотного княжества.

Фике даже родилась вне дома: ее родиной стал померанский Штеттин, где квартировал 8-й Ангальт-Цербстский пехотный полк. Этим полком командовал отец, которому в ту пору было уже под сорок. Матери принцессы исполнилось только семнадцать. А разница в возрасте дополнялась различием в характерах.

Отец – тугодумный и скупой педант, много видевший, но мало знавший, набожный лютеранин, любил быт казармы, обожал прусских королей и был доволен судьбою потсдамского генерал-майора.

Мать – мало видевшая, но уже много чувствовавшая, была оскорблена жалкою судьбой генеральши в прусской провинции, ей хотелось славы и поклонения, чтобы страждущие мужчины толпою теснились в роскошных апартаментах.

Но король не позволил генералу даже занять комнаты в штеттинском замке – ангальтцы снимали квартиру в частном доме господина Грейнфейгейма на углу Большой Соборной улицы.

Маленькая принцесса Фике лежала еще в колыбели, а мир открывался перед нею окном спальни, в котором виднелась церковь святой Марии, и там звонили колокола... Иногда появлялась мать – гибкая и вертлявая, бойко стрекочущая каблуками красных туфель. Она дарила дочери мимолетный поцелуй и с яростью раздавала нянькам искрометные пощечины:

– Приседайте ниже при явлении моей светлости...

Иоганна почасту и надолго пропадала из Штеттина: ей, в отличие от домоседа-мужа, было везде хорошо (только не дома!). Сейчас юную ветреницу манил Гамбург, где ее поджидал любовник – русский аристократ Иван Бецкой.

Влажные ветры Померании задували в широкие окна.

Фике разевала беззубый рот, радуясь жизни.

О, как страшна она станет в неизбежной старости!

...

После Фике у принцессы Ангальт-Цербстской были еще дети, и к каждой новой беременности она относилась с предельным отвращением, будто муж дал ей выпить невыразимой гадости.

– Опять, ваша светлость, вы сделали меня несчастной, – упрекала она принца, шнуруя талию в тиски корсетов. – Теперь я лишена возможности отбыть в Берлин, дабы своим присутствием украсить прием у нашего доброго короля...

(В зрелые годы, вспоминая себя прежней маленькой Фике, Екатерина писала Дидро: «Взрослые не всегда знают, что думают дети, и трудно узнать им детей, особливо когда доброе воспитание приучило их слушать взрослых с покорностью... Бывши ребенком, я часто плакала, когда меня обманывали!»)

Отец не обманывал Фике – ее обманывала мать.

Однажды она с небывалой ласкою внушила дочери:

– Вы должны сказать его светлости, что давно хотите навестить Гамбург, желая повидать свою любимую бабушку и мою высокочтимую мать – герцогиню Голштинскую...

Девочка вошла в служебный кабинет отца:

– Ваша светлость, мой дражайший родитель, я прошу вас позволить поездку в Гамбург, чтобы я могла повидать бабушку.

Христиан повернулся к Фике столь живо, что с его короткого парика слетело белое облачко дешевой солдатской пудры:

– Вас научила просить об этом мать?

– Да, – созналась Фике...

За столом принц Христиан спросил у супруги:

– Прелестная, вы опять желаете навестить матушку?

– С чего вы взяли это, мой добрый друг? – удивилась жена, сразу обозлившись. – Я совсем не желаю снова тащиться по грязи в Гамбург на полудохлых клячах наших нищенских конюшен.

– Но Фике мне сказала...

– Ах, мало ли что выдумает наша Фике!

А вечером в спальне она больно ударила дочь по лицу:

– Пфуй! Как вы несносны и глупы, дитя мое...

Но Фике не была глупа; исподтишка она пристально наблюдала за поведением взрослых. Девочка рано научилась угадывать, когда они говорят правду, а когда лгут. Кривляясь перед зеркалом, Фике от пустой забавы вскоре перешла к делу: она тренировала лицо, напуская на него маски внимания или равнодушия, гнева или печали. А семейные скандалы, еще не всегда ей понятные, заставили девочку думать, что между мужчиной и женщиной, очевидно, существуют какие-то секретные отношения, о которых ей предстоит узнать...

Из частых поездок по Германии Фике вынесла верное суждение: ее мать, такая недоступная дома, в Берлине становилась провинциальной дамой низжайшего ранга, а отец, всесильный в Штеттине, – лишь ничтожный вассал прусского короля, с почтением лобызавший фалды его запыленного мундира. Между тем Иоганна Елизавета, словно бездомная кукушка, подкидывала своих детей к родственникам, отсылая их от себя подальше, чтобы не мешали развлекаться. Желая раз и навсегда избавиться себя от хлопот о Фике, она приставила к ней гофмейстерину, француженку Кардель, обвязав ее (заодно уж!) служить и наставницей в делах суровой нравственности... Фике не однажды спрашивала Кардель:

– Скажите, Бабетта, к чему меня готовят, заставляя танцевать под скрипку и слушать музыку, которую я не выношу?

– Вас готовят к замужеству, – был честный ответ.

– А что я должна делать в замужестве?

– То же самое, что делает ваша мать.

– Но она ведь никогда и ничего не делает.

– Когда вы станете старше, – заключила гофмейстерина, – вы сами убедитесь, что у женщин вашего круга очень много обязанностей перед светом. А сейчас поиграйте в куклы...

Фике терпеть не могла кукол. Она выбегала на двор, где верховодила шайкою уличных мальчишек, устраивая между ними побоища. Совсем неподобающе для принцессы Фике ловко обчищала соседские яблони от незрелых плодов. Коленки ее были исцарапаны, движения порывисты – как у мальчика. Родители наряжали ее лишь в самые дешевенькие платья, рваные чулки тут же штопали, никаких украшений она не знала, и потому в дни народных гуляний, смешавшись с толпой, девочка-принцесса ничем не отличалась от детей штеттинских горожан.

В 1739 году Фике исполнилось десять лет.

В этом году на далекой Смоленщине родился Потемкин.

Крепостная пушка пробуждала Ангальт-Цербстскую принцессу – крики деревенских петухов будили русского мальчика.

...

Померания была еще наполнена грозой и славой русского оружия. Штеттинские жители рассказывали чудеса о богатырях с мушкетами: прямо с бортов кораблей они кидались в море, прибой выносил их на шtrand, а впереди бесстрашной морской пехоты, размахивая шпагой, вышагивал великанище...

Это был царь! Фике уже знала его имя.

Петра I на эти скудные песчаные берега привело жестокое единоборство со шведами и политические союзы, которые он торопливо закреплял брачными связями, раздавая по герцогствам своих царевен и великих княжон. Фике была поражена, когда мать сказала, что они дальние родственники дома Романовых:

– Ваш дед Голштинский был женат на Гедвиге, сестре шведского короля Карла Двенадцатого, воевавшего с Петром Первым. Но зато дочь царя Анна Петровна была выдана отцом за сына вашего деда, и кровь шведской династии смешалась с романовской. А муж Анны Петровны, герцог Карл Фридрих, приходится мне двоюродным братом...

Померания еще хранила следы шведского владычества, но в языке горожан Штеттина (Щецина) иногда звучала древнеславянская речь, не угасшая в бурных событиях европейской истории. С малых лет Фике жила под очарованием рассказов о русских людях (о России часто рассуждали родители, хотя ни отец, ни мать там не бывали). В семье помнили принца Карла, влюбленного в цесаревну Елизавету Петровну; приехав в Петербург, он умер в канун свадьбы.

– Мой голштинский дядя умер от любви?

– От оспы, – отвечала мать дочери...

А на прогулках девочка не раз видела толпы обездоленных немцев; они брели вдоль Одера к морю, чтобы на штеттинских кораблях плыть дальше.

– Куда стремятся эти бесконечные толпы людей?

– О! – отвечал отец. – Это несчастные и нищие в Германии, которые мечтают стать богатыми и счастливыми в России.

– Неужели в России для всех хватит места?

– Эта страна беспредельна.

– И богата?

– Она сказочно богата, дитя мое...

Россия волшебным сном входила в сознание Фике!

2. Политическая прелюдия

Россия так и оставалась – только сном... Девочка уже догадывалась о той жалкой роли, которая предназначалась ей в истории: быть супругой мелкого немецкого князька, который по утрам станет гонять по плацу свою армию в 15–20 солдат при двух доморощенных генералах, а унылые вечера ее будут посвящены вязанию чулок в кругу скучнейших фрейлин... Для этого не слишком и учили! Немножко танцев, чуточку морали с религией. Фике не утомляли и грамматикой: на уроках учитель рисовал букочки карандашом, а девочка была обязана обвести их чернилами.

От отца – никакой ласки, от матери – придирки и одергивания, пощечины, всегда торопливые, сделанные наспех и потому вдвойне обидные для детского самолюбия. Время от времени мать внушала дочери, что она никому не нужна, что ее стыдно показать приличным людям, что чулок на нее не напасть, и – наконец – она выпаливала самое ужасное:

– Боже, до чего вы уродливы! Как я, волшебное создание, рожденное для амурных упоений, могла произвести такое чудовище?..

Однажды начались сборы в голштинский Эйтин, куда свою сестру вместе с дочерью пригласил епископ Адольф Любекский, чтобы ангальтские родственники полюбовались на его воспитанника – герцога Карла Петра Ульриха. Садясь в карету, мать предупредила:

– Фике, в Эйтине вы должны служить образцом поведения... И прошу не объедаться за столом...

Эйтин был резиденцией епископа; тут росли дивные тюльпаны, было много красивых дорожек, шлагбаумов и будок с часовыми. А когда принцесса с дочерью выходили из кареты, барабанщики пробили им «встречную дробь», и мать зарделась от гордости.

– Какие бесподобные почести нам оказывают, – восхитилась она. – Подумать только: сразу пять барабанов!

– И еще скрипка, – добавила Фике.

– Где вы увидели скрипача?

– А вон... в окне, – показала девочка.

В окне молочного павильона стоял худосочный подросток, держа скрипицу. На подоконнике лежала морда большой собаки, глядевшей на приезжих с печалью в глазах. Мать больно ущипнула дочь:

– Скорее кланяйтесь! Это герцог Голштинии, мой племянник и ваш троюродный брат, а его мать Анна Петровна как раз и была дочерью русского императора Петра Первого...

Фике взялась за пышные бока платья и, чуть поддернув их повыше, учинила перед кузеном церемонные приседания, на что собака в окне павильона отсалютовала ей троекратным взлаем:

– Уф! Уф! Уф... У-rrrrrr!

Фике не знала (да и откуда ей знать?), что она раскланялась перед своим будущим супругом, которому суждено было войти в русскую историю под именем императора Петра III...

...

До германских княжеств уже дошли слухи о болезни Анны Иоанновны, а в случае ее смерти престол России займет отпрыск Брауншвейгской династии! Голштинский дом трагически переживал это известие. Правда, в Эйтине еще не угасала робкая надежда на то, что цесаревна Елизавета Петровна, если судьба ей улыбнется, может круто изменить положение; тогда вместо брауншвейгцев к престолу Романовых придвинется близкая им по крови династия Шлезвиг-Голштейн-Готторпская...

За ужином епископ сказал:

– Не будем создавать сладких иллюзий о России! Беда в том, что русские слишком ненавидят нас – немцев...

На другом конце стола, где сидел герцог Карл Петр Ульрих, послышался шум, и епископ Адольф стукнул костяшками пальцев.

– Неужели опять? – гортанно выкрикнул он.

К нему подошел камер-юнкер Брюммер.

– Опять, ваше святейшество, – отвечал он могучим басом. – Ваш племянник выпил уже два стакана вина, и стоило мне чуть отвернуться, как он вылакал все мое бургундское.

– Выставьте его вон! – распорядился епископ...

После ужина Фике случайно проследовала через столовую, где застала своего голштинского кузена. Герцог торопливо бегал вокруг стола, который еще не успели убрать лакеи, и алчно допивал вино, оставшееся в бокалах гостей. Увидев Фике, мальчик взял кузину за руку и сильно дернул к себе.

– Надеюсь, сударыня, – выговорил он, пошатываясь, – вы сохраните благородство, как и положено принцессе вашего славного дома, иначе... иначе Брюммер снова задаст мне трепку!

Девочка искренно пожалела пьяного мальчика:

– Какой жестокий у вас воспитатель, правда?

– Да, он бьет меня ежедневно. Зато я в отместку ему луплю бильярдным кием своего лакея или собаку... Тут, – сказал Петр, кривя рот и гримасничая, – словно все сговорились уморить меня. Вы не поверите, принцесса, что до обеда я сижу на куске черствого хлеба. Но я вырасту, стану знаменитым, как Валленштейн, и этот Брюммер поплачет у меня, когда я всыплю ему солдатских шпицрутенов...

Фике, волнуясь, прибежала в комнату матери:

– Какой гадкий мальчик мой брат!

Узкое лицо матери вытянулось еще больше:

– Вы не имеете права так скверно отзываться о герцоге, голова которого имеет право носить сразу три короны – голштинскую, шведскую и... даже российскую!

В голосе матери Фике уловила затаенную тоску. Это была тоска никудышной ангальтинки по чужому земному величию, по громким титулам, по сверканию корон. Утром, гуляя с герцогом-кузеном, девочка спросила его, какую из трех корон предпочел бы он иметь:

– Вы, конечно, мечтаете о российской?

– Сестрица, – захохотал мальчик, – я еще не сошел с ума, чтобы царствовать в стране дураков, попов и каторжников. Лучше моей Голштинии нет ничего на свете...

Из Эйтина лошади понесли прямо в Берлин!

...

Ангальтское семейство безропотно преклонялось перед величием Пруссии, и мать не могла не навестить короля. Фике запомнила его резко очерченный силуэт, точный жест, каким он бросил под локоть себе большую треуголку. Фридрих II поцеловал принцессу-мать в лоб, а маленькую Фике небрежно погладил по головке.

– Уже и выросла, – сказал он кратко, без эмоций.

Униженно пресмыкаясь, мать выклянчивала чин генерал-лейтенанта для мужа. Фридрих II сухо щелкнул дешевенькой табакеркой.

– Еще рано, – отказал он и, взмахнув тростью, предложил спуститься в парк по зеленым террасам... Фике с матерью едва поспевали за маленьким быстроногим человеком, а в ответ на дальнейшие просьбы принцессы Фридрих II тростью указал на девочку: – Не делайте из нее золушки! В будущем вашей дочери возможны самые невероятные матримониальные вариации.

– Ваше величество, но я...

– А вы уже замужем, мадам! – осадил ее король.

Ночевать остановились в берлинском отеле, и мать, уложив Фике в постель, быстро и шумно переодевалась. Поверх исподнего фрепона накинула распашной модест, в разрезе лифа расположила гирлянду пышных бантов. Туча пудры осыпала ее декольте (в форме воинского каре), а белизну шеи искусно оттеняла узкая черная бархотка. В такие минуты, собираясь покинуть дом, она всегда хорошела, добрея. Иоганна приклеила над губою мушку и, мурлыча, повертелась перед зеркалами. Потом, глубоко задумавшись, она подвела у глаз стрелки, и теперь это сочетание стрелок с мушкой было негласным паролем для знатоков любви: «Вы можете быть со мною дерзким...» Громадное панье не позволяло матери пройти через дверь, она встала бочком и проскочила с писком, как мышь. Фике уснула и пробудилась ночью, встревоженная чужим смехом за стеною. В длинной рубашке до пят девочка соскочила с постели, тихо приоткрыла дверь в материнскую спальню. Первое, что она увидела при лунном свете, это длинный палаш драгунского офицера, затем разглядела и остальное. Фике справедливо

решила, что увиденное ею следует скрывать от отца. А утром она заметила, что у матери появились лишние деньги, и мать очень быстро промотала их на всякие мелочи, против приобретения которых всегда так горячо восставал скупой отец...

А скоро наступили перемены. Сначала они казались случайными, потом закономерными и наконец обрели мощный европейский резонанс. Эти перемены касались лично ее – маленькой и отверженной в семье принцессы Фике... Анна Иоанновна умерла, престол России занял ее племянник Иоанн Антонович, но в морозную ночь цесаревна Елизавета, поддержанная гвардией и мелким дворянством, выбросила Брауншвейгскую династию из царского дворца. Фике теперь часто заставляла мать перебирающей газеты – брюссельские, парижские, гамбургские. Снова воскресли угасшие надежды голштинцев:

– Да, да! Уже сбываются пророчества Адама Олеария, и нашу бедную Голштинию ожидает великое и славное будущее...

Вскоре газеты сообщили, что герцог Голштинии вытребован теткою в Россию для наследования престола, и Фридрих II моментально отреагировал: летом 1742 года, желая угодить русскому кабинету, король произвел принца Христиана Ангальт-Цербстского в генерал-лейтенанты, назначив его губернатором Штеттина.

Ликованию матери не было предела:

– Прочь из этих жалких комнатшек – в замок, в замок!..

Теперь за стулом Фике прислуживал лакей, штопаных чулок она более не носила, к обеду ей подавали громадный кубок вкусного пива. Отныне – уже не по легендам! – девочка по доходам семьи, по содержимому своей тарелки материально, почти плотски, ощутила щедрую благодать, исходящую от могущества великой России. Затем герцог Людвиг (родной дядя Фике) призвал своего брата Христиана в соправители Цербста, и отец стал титуловаться герцогом. Резкий переход от ничтожества к величию отразился на нервах матери, и она властно потребовала от мужа, чтобы во время вкушания ею пищи играла на антресолях музыка.

– Вы знаете, друг мой, – доказывала она, – что я спокойно поела все, что мне дают, и без музыки. Но зато теперь, когда я стала герцогиней, мой светлейший организм не воспринимает супов без нежного музыкального сопровождения их в желудок...

Фике страдала: она не выносила музыки – ни дурной, ни хорошей. Любая музыка казалась ей отвратительным шумом. Голубыми невинными глазками девочка исподтишка шпионила за матерью, а потом перед зеркалом копировала ее ужимки, обезьянничала.

...

Никто и не заметил, как за декорациями зеленых боскетов, на фоне трельяжных интерьеров потихоньку складывался характер будущей женщины – все понимающей, все оценивающей, уже готовой постоять за себя. Герцогине не могло прийти в голову, что ее дочь, замурзанная и покорная, уже давно объявила ей жестокую войну за первенство в этом мире, и она будет вести борьбу до полной капитуляции матери... Целый год герцогиня с дочерью провели в Берлине, где Фике оформилась в подростка, стала длинноногой, остроглазой вертуньей, скорой в словах и решениях. Мать хотела сделать из дочери изящное манерное существо, вроде фарфоровой статуэтки, под стать изысканным картинам Ватто, и даже за обеденным столом Фике держала ноги в особых колодках, приучая их к «третьей позиции» – для начала жеманного менюэта.

– Главное в жизни – хороший тон! – внушали Фике.

Целиком поглощенная тем, чтобы люди не забывали о ее величии, мать не разглядела в дочери серьезных физиологических перемен. Но они не остались без внимания прусского короля...

Фридрих II вызвал к себе министра Подевилльса:

– А ведь мы будем олухами, если не используем привязанности Елизаветы к своим германским родственникам. Сейчас русская императрица обшаривает закоулки Европы, собирая портреты для создания «романовской» галереи... Я думаю, – решил король, – что нам стоит пригласить глупца Пэна!

Был чудный мартовский день 1743 года.

– Фике, – сообщила мать дочери, – лучший берлинский живописец Антуан Пэн будет писать ваш портрет. Я научу вас принять позу, исполненную внутреннего достоинства и в то же время привлекательную для взоров самых придирчивых мужчин. – Герцогиня заломила руки, возведя глаза к потолку, на котором пухлые купидоны, сидя на спинах дельфинов, трубили в раковины гимны радостной жизни. – Король так добр, – заключила мать, прослезясь, – что нам этот портрет не будет стоить даже пфеннига: прусская казна сама уплатит живописцу.

Портрет был вскоре написан.

– Во, бездарная мазня! – сказал король, стуча тростью. – Ладно! Я не думаю, чтобы Елизавета была знатоком живописной манеры, а принцесса Фике представлена здесь вполне выразительно...

Портрет намотали на палку, как боевое знамя, которое будет развернуто во всю ширь перед генеральным сражением. Королевский курьер доставил его на берега Невы, где Елизавета, кокетливо прищурившись, осмотрела свою дальнюю родственницу.

– Ну что ж, Алеша! – сказала она своему фавориту Разумовскому. – Гляди сам: ноги-руки на месте, глаза и нос – как у людей... Сгодится и такая нашему дурачку!

...

В канун наступающего 1744 года вся ангальтская семья собралась в Цербсте, где герцог Христиан, как добрый лютеранин, пожелал украсить новогоднюю ночь возблагодарением всевышнего за щедроты, которые столь бурно на него излились... В эти дни ангальтинцы уже были извещены, что портрет Фике произвел на русскую императрицу самое благоприятное впечатление.

1 января герцог Христиан, сочтя, что одной порции молитв недостаточно, снова деспотически увлек свое семейство в капеллу цербстского замка. Опять заиграл орган, зашелестели в руках молитвенники. Но с улицы вдруг послышался топот копыт, заскрипели на ржавых петлях тяжкие двери храма, и в настороженной тишине, разом наступившей, все невольно вздрогнули от грузных шагов.

Цок-цок-цок – стучали ботфорты по каменным плитам.

Фике встала навытяжку – это близился ее рок!

3. Дорога на восток

Следом за своим воспитанником прибыл в Россию и голштинский камер-юнкер Брюммер, а те слова, которыми он ободрил будущего императора, дошли до нас в документальной ясности:

– Я стану сечь ваше высочество так нещадно, что собаки не будут успевать облизывать кровь с вашей паршивой задницы...

Карл Петр Ульрих в России стал называться Петром Федоровичем. И хотя этот *enfant terrible* всем постоянно мешал, он многим был нужен. Петр нечаянно для себя (и неожиданно для истории) сделался важным козырем в игре престольных конъюнктур. Из Стокгольма прибыло в Петербург целое посольство – шведы просили у царицы уступить им племянника, который Карлу XII приходился внуком, Елизавета потому и не хотела его отдавать. Она отвечала послам, что Петр нужен ее престолу как внук Петра I, а если вам, шведам, короля нигде более

не сыскать, так я вам уступлю другого голштинца. И указала на дядю своего племянника – епископа Адольфа Любекского, который проворно скинул мантию и, уплыв в Швецию, женился на родной сестре прусского короля Фридриха II... Такова забавная подоплека появления голштинца Петра III в России!

Наследник русского престола не знал матери, умершей после его рождения, в раннем детстве потерял и отца. Брюммер с пучком розог и епископ с катехизисом вывели отрока за шлагбаум европейской политики. При первом же свидании с русской тетушкой Петр сильно озадачил ее ухватками караульного солдата, которые никак не вязались с интересами неразвитого ребенка.

– Впервые вижу, – удивилась Елизавета, – чтобы круглый сирота был и круглым дураком. – Она была растерянна и даже не скрывала растерянности от придворных. – Нешто, – спрашивала царица, – в Европах и все принцы таковые обормоты бывают?..

С бравадою арестанта, выпущенного из тюрьмы, Петр в первый же день свободы жестоко напился. Императрица стороною вызнала, что с десяти лет мальчика уже потчевали в Голштинии вином и пивом.

– Вот это новость, – тяжело призадумалась Елизавета. – Уж на Руси святой люд православный винопитием удивить трудно, но у немцев, видать, всем нам еще поучиться надобно. – Она посоветовалась с Разумовским: – Как быть-то нам? Ведь, чай, не чужой он мне, а родная кровинушка... Драть его? Так он уже дран приехал. Этот Брюммер его насквозь, будто ротный барабан, простучал!

Бывший свинопас отвечал с большим знанием дела.

– Учить надо, голубушка ясная. А ученье без мученья не бывает, о чем небось и сама по опыту ведаешь...

К телесному воздействию со стороны Брюммера приложили умосозерцательное воздействие академика Якоба Штелина, и тот выявил полную беспомощность мозга наследника: Петр понимал лишь осязаемое и видимое, избегая всего отвлеченного. Отвергая все крупное, он любил мелочи. Даже рассматривание мундира начинал не с его покроя, а – с пуговиц... Книги не читались, Петр рассматривал в них лишь картинки. Русскую историю Штелин трактовал по рублям и гривнам старого времени. Геометрия имела практическое завершение чертежом учебной комнаты. Химию осваивали лицезрением частых городских пожаров. Брюммер присутствовал постоянно! Он имел наготове испытанный арсенал воспитательных инструментов, как-то: оплеухи, розги, подзатыльники и прочие удивительные чудеса, до сей поры не снятые с вооружения всего мира. К этому набору педагогических средств следует добавить бесподобную виртуозность брани, которую Брюммер по прибытии в Россию радикально обновил за счет пленительных русских выражений...

– Учиться так учиться, – говорил он здраво.

В один из дней тетушка вызвала племянника к себе и поставила перед ним пэновский портрет его цербстской кузины.

– Узнаёшь ли? – спросила конкретно.

– Впервые вижу, – получила ясный ответ.

Елизавета Петровна малость даже оторопела:

– Я тут стараюсь, в Европах этих разных все пороги обила, невесту для тебя сыскивая, а ты свою же сестрицу не признаешь... Ступай! – велела она. – Я тебя супружеством отягощу. А жена – не тетка родная. Она живо даст тебе на орехи с изюмом...

Итак, читатель, 1 января 1744 года в капелле цербстского замка появился курьер с пакетом. Его шаги приближались: цок-цок... Он обошел Фике, вытянувшуюся перед ним, миновал и герцога Христиана, вручив эстафету в руки герцогини Иоганны Елизаветы.

– От кого? – спросила она с некоторым испугом.

– От... простите, не извещен.

Все потянулись в замок – к столам, к каминам, к трубкам и пиву. Владельцы Цербста при-
молкли, выжидая, когда герцогиня ознакомится с посланием. Наконец она вышла из кабинета:

– Фике, это касается лично вашей персоны...

Большие воды политики иногда протекают грязными темными каналами. Письмо было от Брюммера, но писал он так, что за его спиной ощущалось жаркое дыхание самой Елизаветы. Фике скосила глазки на депешу из Петербурга: «...императрица желает, чтобы Ваша Светлость, сопровождая старшую дочь Вашу, принцессу, прибыли сюда возможно скорее... Вы слишком просвещены, чтобы не понять истинного смысла того нетерпения, с каким русская импера-
трица желает Вас видеть...» Герцог спросил жену, указывая трубкой:

– Могу я знать, что здесь писано к вам?

Иоганна Елизавета закрыла письмо ладонями:

– Нет! – Но тут же разболтала: – Я еду в Россию и везу туда Фике. А в Берлине по векселю Елизаветы король отсыпет мне дукатов, сколько я попрошу... Это великая тайна, мой друг! Пока мы скачем в Россию, ни одна кошка в Европе не должна шевельнуться. Мы отъезжаем под именем графинь Рейнбек и лишь в Риге сможем называться своими подлинными именами...

Вдруг перед замком (опять роковое «вдруг») протрубил рожок почтальона, из кареты выбрался краснорожий фельдъегерь, поднялся в замок и, вскинув ко лбу пакет, вручил его герцогине:

– Вашей светлости от его королевского величества.

– Мускусу! – закатила глаза герцогиня. – Ах, неужели в этом доме никто не видит, что мне дурно... ах, умираю, спасите!

Каждый час по эстафете, сначала из Петербурга, а теперь из Берлина, – это слишком помпезно. Сбрызнутая острым мускусом, герцогиня прочла: король требовал скорейшего отъезда в Россию. Герцог Христиан ходил по комнатам, задевал коленями стулья, обитые гризетом цербстского производства, и – рассуждал:

– Я все-таки не понимаю, что в нашем тихом Цербсте происходит? Кто объяснит мне эту странную суматоху?

– Едем! – закричала жена. – Вы, мой друг, сущий болван, если не догадываетесь, что наша ничтожная Фике станет русской императрицей... Готовьте лошадей и кареты... в дорогу!

Фике онемела. А перед ее матерью, жаждавшей трепетных удовольствий, открылась картина блистательной жизни в России: торжественные почести, праздники и фейерверки, кавалькады любовников, которые, сгорая от страсти, скачут за нею в тени романтических дубрав, а она – гордая! – всем отказывает. Но тут является некто неотразимый, и перед ним она слабеет. При этом ангальтинка плотоядно размышляла: «В любом случае моя дочь может только мешать мне наслаждаться...» Строгим тоном она ей сказала:

– Фике, разрешаю вам взять в Россию три платья, остальные пригодятся вашим сестрам, когда они подрастут... Так и быть: я дарю вам свои новые брюссельские чулки, но отберу их у вас, если в Петербурге не найду себе лучших.

Два дня ушло на срочное обновление туалетов герцогини, а невесту оставили в прежних полунищенских обносах.

– Скромность украшает невинность, – декларировала мать и позволила взять в Петербург медный кувшин. – Пусть русские дикари видят, что вы явились не с пустыми руками. Захотите помыться, и вам не придется краснеть, выпрашивая кувшин у императрицы.

Отец взялся сопровождать их. Карета тронулась, через заднее окошко Фике проследила, как за нею опустился полосатый шлагбаум Цербста (она уже никогда сюда не вернется). На третий день семейство прибыло в Берлин.

– В браке вашей дочери с русским наследником, – сказал Фридрих II герцогине, – я вижу залог безопасности Пруссии, а мой посол в России, барон Мардефельд, ждет вашу светлость

с таким же нетерпением, с каким, полагаю, жених ожидает прибытия невесты... А кстати, – огляделся он, – почему я не вижу ее здесь?

Иоганна Елизавета объяснила отсутствие дочери тем, что глупая Фике может лишь помешать серьезной беседе.

– Глупая или мудрая, но к обеду ей быть здесь!

Недавно Фридрих II победоносно завершил войну с Австрией, отняв у нее богатую Силезию, – теперь, выдавая Фике за русского наследника, он хотел сделать Россию нейтральной к своим захватам. Но канцлер Бестужев-Рюмин ориентировал политику Петербурга на Австрию и Саксонию... Король доказывал:

– Приезд вашей дочери – это удар по Бестужеву, а мой посол Мардефельд поможет вам устранить его вредное влияние на Елизавету, на весь ее двор... Что ж, пора за стол. Где Фике?

Но король не дождался девочку к обеду.

– Где же она? – спросил он, уже гневаясь.

Пришлось сознаться, что Фике плохо одета.

– Сударыня, – вежливо и едко произнес король, – не забывайте, что вы только дуэнья при своей дочери. Не вам, а именно дочери предназначена роль царской невесты... Одеть Фике!

Три часа ожидали, пока Фике не явилась перед королем в уродливом платье, сшитом на живую нитку, едва причесанная, чуточку припудренная, без драгоценностей. Герцогиня, почуввав неладное, вырвала из своей прически длинное перо черного какаду и с размаху вонзила его в волосы дочери, словно кинжал в свою жертву.

Фридрих тут же выдернул перо, подавая девочке руку:

– Ваша светлость, вы обедаете сегодня со мной...

Это была первая победа Фике над матерью, которая издали нервно наблюдала за дочерью, сидящей рядом с королем. А она с мужем вынуждена была жаться в сторонке.

Накормив одну лишь Фике, король отпустил их.

16 января ангальтское семейство покинуло Берлин.

Много позже, когда свидетели детских лет Фике уже вымерли, профессор Богдан Тьебо все же отыскал в Цербсте дряхлую баронессу фон Притцен, которая и рассказала ему: «Я ведь сама укладывала багаж перед ее отъездом... я заметила в ней ум расчетливый и холодный, но столь же и далекий ото всего яркого. Одним словом, я составила себе понятие о ней, как о девице самой обыкновенной, а потому судите сами о моем крайнем удивлении, когда я узнала про ее необычайные приключения в России».

...

Европа давно не помнила такой зимы – суровой и бесснежной; за каретами по замерзшим колдобинам тащились пустые сани на привязи, что придавало процессии нелепый вид. В Шведте-на-Одере семья разделилась: отцу ехать на Штеттин, а мать с дочерью поворачивали на восток. Сильный знобящий ветер развевал флаги над форштадтами. Отец снял треуголку и вдруг разрыдался. Он плакал, а его напутствия дочери звучали на ветру как боевые приказы:

– Милостивыми взорами наделяйте слуг и фаворитов государыни, с русскими наедине не говорите, чтобы не вызвать дурных подозрений. Избегайте расточительной игры в карты, деньги карманные держите в кошельке, выдавая прислуге самую малость. Кошелек ночью кладите в чулок, а чулок с деньгами прячьте между стеной и постелью, чтобы русские не стащили. В тяжбах и ссорах ни за кого не вступайтесь, дабы не нажить себе лишних врагов...

Это была его «политическая» программа! Фике сердцем вдруг поняла, что больше никогда не увидит этого человека. С криком она бросилась на шею отцу. Христиан стащил с головы парик и вытирал им слезы – свои и дочерние.

Кареты разъехались. Мать даже всплакнула:

– Всегда вы умудряетесь доводить страсти до критических крайностей. Ах, Фике, как хорошо знать золотую середину...

18 января, спасаясь от мороза, «графини Рейнбек» натянули на лица шерстяные маски с прорезями для глаз. Дороги были ужасные, а постоянные дворы Пруссии – в состоянии плачевном. Герцогиня депешировала мужу: «Мы спали в свинятнике; вся семья, дворовая собака, петух, дети в колыбелях, другие за печкой – все вперемежку... мы с Фике устроились на скамье, которую я велела поставить посреди комнаты, спасаясь от клопов». Миновав Данциг, 24 января форсировали Вислу и на третий день прибыли в Кенигсберг, откуда и повернули на Мемель. Здесь на целый аршин лежали глубокие снега, экипаж переставили на санные полозья. Для сокращения пути ехали прямо через залив Куриш-гаф; президент магистрата пустил перед ними множество саней с рыбаками, чтобы «графини Рейнбек» не угодили в полынью. За Мемелем почтовый тракт кончился, до Либавы катили на обывательских санях. 5 февраля, измученные холодом и неудобствами, путешественницы прибыли в Митаву, столицу Курляндского герцогства, владелец которого, герцог Бирон, был заточен Елизаветой в Ярославле, – отсюда до Риги оставался один переезд. Громадный митавский замок (дивное создание Расстрелли) был еще в строительных лесах. Фике впервые увидела деревянные избы...

Отночевали в Митаве еще под именем «графинь Рейнбек», а утром проснулись от зычного голоса полковника Тимофея Вожакова, который, приветствуя их по-немецки, назвал уже настоящими именами, потом показал на часы:

– К полудню нас ждут в Риге – поспешите!

Закутанная до глаз, Фике спустилась во двор и удивилась, что – вчера еще пустынный – он заполнен множеством всадников: их встречали почетным эскортом. Морды лошадей были в пушистом серебре, иней покрывал и латы всадников. Драгуны были первыми русскими, которых увидела Фике! Румяные от мороза и водки, рослые и усатые, все с крепкими зубами, они сразу понравились девочке почти карнавальной красотой. Фике поразились – всадники были без перчаток, будто холода не замечали. Юный офицер склонился из высокого седла, что-то долго говорил ей, и речь его рокотала как водопад. Фике застенчиво улыбнулась:

– Простите, я не знаю русского языка...

Хлопнула дверца кареты. Вожаков гаркнул:

– Драгунство, палаши... вон! На шенкелях па-а...шли!

По бокам возка тронулся эскорт всадников, звенящих промерзлой амуницией, сверкающих клинками наголо, а за ними вихрилась снежная пыль. «Россия, Россия... вот такая она, Россия!» Драгуны сидели на массивных лошадях столь плотно, что казались девочке сказочными кентаврами из античных мифов. А тот юный офицер скакал вровень с каретой и, заметив в окошке лицо принцессы, подмигнул ей – совсем по-приятельски, и от этого Фике стало вдруг легко-легко, как не бывало еще никогда в жизни...

Девочка весело рассмеялась. Ей было 15 лет.

Вскоре за широкой рекой показался угрюмый замок, шпицы соборных храмов, над острыми крышами домов плыли синие уютные дымы обывательских кухонь. Это была Рига – западный фасад России! А с востока Россия еще не ведала своих пределов, но русских видели плавающими по Амуру и Юкону, они – за океаном! – гостили в дымных вигвамах индейских вождей, с ружьями россияне проскакивали через знойные прерии Калифорнии... Империя! Но империя столь быстро растущая, что русские не успевали ставить заборов.

4. Бесприданница

А вот и первый зловещий факт: за два часа до въезда будущей Екатерины в Россию из крепости Дюнамюндешанц, что расположена в рижских предместьях, был секретно вывезен малолетний император Иоанн Антонович, сверженный Елизаветой Петровной.

...

Едва кони скатили карету на двинский лед, сразу же салютовали крепостные пушки, раздались звуки рогов и бой барабанов – их встречали. Но... как? В рижском замке, жарко протопленном, царило столь пышное оживление, что в глазах герцогини сразу и навсегда померкли краски берлинских и брауншвейгских празднеств.

– А ведь это еще только Рига, – шепнула она дочери. – Я сгораю от любопытства: что будет с нами в Петербурге?

Фике растерялась среди важных персон, отпускавших низкие поклоны, среди осыпанных бриллиантами дам, делающих перед нею величавые реверансы. Слышалась речь – русская, немецкая, польская, французская, английская, сербская, молдавская, даже татарская. У герцогини закружилась голова от обилия золота и бархата, серебра и шелка, алмазов и ароматных курений. Палочкой-выручалочкой в этом заколдованном замке стал для приезжих камергер царицы Семен Нарышкин, который с ленцою русского барина проводил их в отдельные комнаты, небрежно дернул сонетку звонка, наглядно демонстрируя, как вызвать его или прислугу.

– А государыня – в Москве, куда и вам следует ехать.

Лакеи внесли легковесную шубу из соболей, и Нарышкин с удовольствием накрыл ею невесту:

– Это вам от государыни, дабы в дороге не мерзли.

Едва он оставил женщин наедине, как Иоганна Елизавета сразу же напялила шубу на себя и кинулась к зеркалам:

– Фике, не забывайте, что я ваша мать, и жестоко с вашей стороны видеть свою мать одетой беднее...

Шуба так и осталась у нее. Быстрая перемена обстановки ошеломила и девочку. Стоило ей высунуть нос из комнат, как великаны-преображенцы делали «на караул», а на хорах флейты и гобой исполняли пасторальный мотив. Присев к столу, герцогиня уже строчила мужу: «Мне страшно при мысли, что все это делается для меня, для которой в Германии еле слышно стучали в барабан, а чаще всего и того не делали...» О дочери она не упоминала: все почести, оказываемые Фике, мать принимала на свой счет!

Чуть ли не в шесть часов утра Нарышкин был разбужен звонком, призывавшим его в покои принцессы. Камергер застал Фике уже полностью одетой; казалось, в эту ночь она не спала. С видом необыкновенно серьезным девочка указала вельможе на стол, где были разложены заранее бумага с перьями и чернила с песочницей.

– Господин камергер, – сказала Фике, чинно приседая, – я не знаю, как сложится моя судьба в России, но она ведь может сложиться и счастливо. – Допустив паузу, Фике выждала от Нарышкина покорного поклона. – Садитесь, – велела ему, – и опишите мне обычаи при русском дворе, русские заветы и пристрастия...

Нарышкин смолоду был дипломат. Не прекословя, он быстро начертил для нее все-все, о чем она просила. После чего удалился, поцеловав Фике руку – уже не просто из этикета, а даже с уважением.

...

Тронулись! Для матери сон еще продолжался:

– Мы попали в волшебную страну. Смотрите, Фике, вся наша карета выложена соболями, а матрасы в ней обтянуты индийским муслином. В нашем поезде скачут метрдотель, легион поваров, личный кофишенк и даже кондитер... О-о-о, – заколотилась она, – кажется, я начинаю завидовать даже сама себе!

А взгляд девочки был устремлен за окно кареты, где посвистывали сыпучие русские снега. Тяжко ухали в твердый наст копыта кавалерийского эскорта. Выехав из Риги утром, они еще засветло достигли Дерпта, – дороги были на диво гладкие, по вечерам каждая верста освещалась бочкой с горящей смолою. Бюргерская Нарва встретила их бесподобной иллюминацией, а за Нарвою кони рванули напрямик – на Петербург...

Вот и первые русские деревни; Фике обратила внимание на какие-то строения из высоких столбов с перекладинами.

– Это виселицы? – спросила она Нарышкина.

– Нет, качели, – ответил тот...

Фике не поняла, что это такое (в Германии качелей не знали). А в русской столице властвовали мороз и солнце, все сверкало от инея. Двор пребывал в Москве, и потому Петербург заметно опустел от знати, дипломатов, поваров, посуды и даже мебели. Однако оставшегося декора вполне хватило для соблюдения церемониалов, и вечером Иоганна Елизавета записывала: «Здесь мне прислуживают, как королеве. Меня посещали дамы, я уже играла в карты и ужинала с теми из них, которые признаны того достойными». В этот день Нарышкин спросил Фике: что бы она желала осмотреть в Петербурге? Ответ девочки был для него неожиданным:

– Я хочу проделать путь, который свершила ваша императрица Елизавета, когда шла забирать престол для себя.

И на следующий день в точности повторила маршрут Елизаветы – от Преображенских казарм до Зимнего дворца. А перед отъездом в Москву Фике пригласили в отдельную комнату, куда следом вошли трое сосредоточенных мужчин – это были лейб-медики Санчес, Кондоиди и Каав-Бургаве; врачей сопровождала статс-дама графиня Румянцева, которая с величественным видом повелела девочке:

– Сейчас вы ляжете на эту софу, господа должны учинить императрице подробнейший доклад о вашем природном естестве...

Фике было стыдно. Но следовало подчиниться, дабы не возвращаться в Цербст, который из заснеженных русских далей показался девочке чужим, брошенным и никому не нужным.

– Одевайтесь, – разрешила графиня. – Доклад врачей ея величеству послужит к вящему удовольствию вашей светлости...

Поехали! На каждой станции торжественный поезд ждали свежие лошади, свежие простыни, свежий кофе и свежие булочки. 7 февраля на раскате крутого поворота сани трахнулись об угол избы с такой силой, что у невесты искры из глаз посыпались, а герцогиня получила удар по лбу, отчего и явилась в первопрестольную столицу с великолепным синяком. Было 8 часов вечера 9 февраля, когда возок с невестою нырнул под кремлевские ворота, длинный поезд вытянулся под окнами покоев императрицы. С треском разгорелись смоляные факелы, громко стучали двери – каретные и дворцовые. В суматохе встречающих, среди разбросанных по сугробам сундуков и баулов, бродила полная женщина в шубе наопашь, с открытою на морозе головой, сверкая восточным украшением, вплетенным в прическу. Это была Елизавета... На лестницах Кремля была страшная суета, одни бежали вверх, другие вниз. Елизавета походя разговаривала со всеми, смеялась, что-то указывала, бранилась, ей возражали, она махала рукой, посылая всех к черту, и тут же суеверно крестилась. Заведя Фике в свои комнаты, императрица сама стала расстегивать на Фике дорожный капор. Герцогиня, ошалевшая от «варварской» простоты приема, стала низко приседать, произнося высокопарную речь о знаках благоденствия, которые... Но Елизавета, не дослушав ее, хлопнула в ладоши, пухлые, как олады, – мигом явился Лесток, лейб-хирург ее двора – и указала ему на синяк герцогини, отливавший дивным перламутром:

– Смажь! Чтоб к утру этого не было...

Над Москвою с треском лопались пороховые «шутихи», в избе плясали фонтаны огня. Елизавета сама проводила Фике в спальню, велела при себе раздеваться. Заметив простенькое

бельишко принцессы, спросила: что та привезла из Цербста? Фике честно перечислила багаж: три платица, дюжина нижних рубашек, туфли да чулочки, а простыни для спанья берет у матери.

– И это... все? – хмыкнула царица.

Фике вдруг стало очень стыдно за свою бедность:

– Еще кувшин. Медный. Очень хороший.

Елизавета расцеловала девочку в щеки:

– Бесприданная! Ну спи. Я тебя приодену...

Будущая «Семирамида Севера» уснула, но это не был спокойный цербстский сон – даже ночью жизнь в Кремле не затихала. За стенкою долго шумели пьяные, где-то резались в карты, пили и дебоширили. Фике не раз просыпалась от неистовых женских визгов и сатанинского мужского хохота. В покоях императрицы кастраты из Флоренции до утра исполняли любовные арии на слова аббата Метастазиио, а у фаворита Разумовского слепые кобзари играли на бандурах, напевая о страданиях запорожцев на галерах турецких. Потом, уже на рассвете, когда все малость утихомирились, дворец Кремля сильно вздрогнул, будто под ним взорвали пороховую бочку, – это обрушилась гигантская пирамида сундуков с нарядами и туфлями императрицы. А когда утром герцогиня с принцессой, приведя себя в порядок, готовились начать день, выяснилось, что дворец наполнен одними спящими.

За окнами тихо сыпался мягкий снежок...

...

Петр Федорович встретил невесту без интереса. Фике выслушала его первую ложь – как он, будучи лейтенантом (?), командовал голштинской армией (?) и наголову разбил датчан (?), которые сдавались ему в плен тысячами (?).

– Когда это было? – спросила девочка.

– Лет десять назад...

Фике удостоила его игривого книксена:

– Поздравляю ваше высочество, что в возрасте шести лет вы уже столь прославили себя в грандиозных сражениях.

– А вы злая, – ответил Петр.

Елизавета приставила к Фике учителя манер и танцев, священника для познания православия и писателя Василия Ададунова – для обучения русскому языку. Понимая, чего от нее хотят, Фике старалась как можно скорее «обрусеть» и со всем пылом своей натуры взялась за освоение русской речи... О-о, как это было трудно! Регулярно, в три часа ночи, Фике усилием воли заставляла себя покинуть постель, до рассвета зубрила: баба, плетень, дорога, большой, маленький, ложка, превосходительство, чепуха, красавица, капуста, белка, корабль, указ, воинство, клюква... Зачастую, встав среди ночи, Фике, не одеваясь, ходила, разговаривая по-русски, босая, а изо всех щелей дуло, и девочка простудилась.

Все началось с озноба, а к вечеру 6 марта Фике находилась уже в беспомощности. Очнувшись, она кричала от боли в боку. Императрица находилась в отъезде на богомолье, а мать... Мать думала только о себе! Все, буквально все рушилось в планах герцогини. Сейчас, когда дела идут так хорошо, эта мерзавка дочь осмелилась заболеть. Мало того, врачи не исключают трагический исход, и тогда герцогине, собрав скудные пожитки, предстоит вернуться к заботам о детях, к старому нудному мужу, на обед ей снова будут подавать вассер-суп... С ненавистью герцогиня тащила умирающую дочь с постели на пол, кричала на принцессу в бешенстве:

– Сейчас же встать! Какое вы имели право так распускать себя? Одевайтесь... немедленно! Мы едем на бал к Салтыковым...

Потеря сознания спасла Фике от этой поездки. Чья-то прохладная рука легла на ее лоб, приятно освежая. Это из Троицкой лавры примчалась императрица. Елизавета (прямо с дороги – в шубе) присела на край постели, а герцогине сказала:

– Сестрица, поди-ка вон... погуляй. – Потом заботливо поправила подушки под голову девочки. – Сама не маленькая, и постеречься надобно. Здесь тебе не Цербст, а Россия-матушка... у нас сквозняки такие, что и быка свалят!

Она обещала позвать лютеранского пастора.

– Зачем мне пастор? – сказала ей Фике. – Зовите священника русского. Я ведь уже считаю себя православной...

После таких слов Елизавета наказала Лестоку:

– Жано, передай лейб-медикам, что, ежели не спасут девку цербстскую, я их заставлю раскаленные сковородки лизать...

А пока дочь болела, светлейшая герцогиня трудилась как усердная пчела. Из комодов дочери она перетаскала к себе все подарки императрицы, оставив дочку при том же скарбе, с каким и привезла ее в Россию (заодно с медным кувшином). Это заметили все русские. К тому же Иван Иванович Бецкой за партией в фараон сознался перед игроками, что когда-то поддерживал упоительную связь с Ангальт-Цербстской герцогиней:

– После этого она и родила девочку.

Кирилла Разумовский спросил:

– Ванька, а не ты ли отец ее?

– Об этом надо спрашивать герцогиню, – отвечал Бецкой, сдавая трефового туза и поднимая выше свои придворные ставки.

5. Екатерина Алексеевна

Моряки, приставая к берегу, бросают между бортом корабля и причалом мешки с паклею, дабы смягчить неизбежный удар, – так и царствование Елизаветы Петровны стало чем-то вроде политического буфера, смягчившего исторически необходимый переход от иноземной сатрапии Анны Иоанновны к просвещенному абсолютизму.

Петр I называл иностранцев «учителями», а Елизавета разогнала этих «учителей», печатно обложив их в манифестах «злодеями» и «дармоедами». В том-то и была суть правления Елизаветы, что она опиралась на русские национальные силы; уже не Тауберг и Шумахер, а Сумароков и Ломоносов читали ей оды, и даже сладчайшие арии заезжих из Италии кастратов не помешали царице услышать пламенный монолог купеческого пасынка Федора Волкова, раздавшийся под конец ее жизни в Ярославле... По духу русская барыня, императрица впитала в себя все пороки русского барства. О первозданной лени Елизаветы писали даже в европейских газетах. Достоверен случай, когда, подписывая указ, она вывела: «Ели», а «завета» дописала лишь через два года. До изнеможения она замучивала себя постами и молитвами, а потом напивалась так, что не могла раздеться, и фрейлины, завалив ее на постель, ножами разрезали на царице золотую парчу одежд. Елизавета умела вести себя с утонченной изысканностью версальской маркизы, но порою, пренебрегая всяким приличием, поступала грубее полковой маркиганки, и тогда даже у кучеров вяли уши... Елисавет – да! – любила русский народ, но палец о палец не ударила, чтобы облегчить нужды народные, отдавая от людей устройством бесплатных зрелищ и праздничных карнавалов. Она – да! – уважала крестьянский труд, но ничего не сделала, чтобы облегчить жалкую участь закрепощенных миллионов. Однако в глазах своего народа Елизавета всегда оставалась «дщерью Петровой», и генеалогические связки Романовых с домом Голштинским были мало кому понятны. Вызвав в Россию племянника, императрица жестоко расплачивалась за брачные химеры отца, – и недаром же

священники давали присягу, что в эктениях, поминая наследника, они обязуются добавлять слова: «внук Петра Великого» (иначе народ не понимал, откуда этот наследник взялся).

Время Елизаветы интересно не менее самой Елизаветы, и только те иностранцы, которые сознательно ничего не желали видеть в России, представляли её унылой заснеженной пустыней. Зачастую они замечали в ней только мишурный фасад империи, не догадываясь, что в глубине России укрывается могучий трудовой тыл. Русские заводы при Елизавете уже полностью обеспечивали армию и флот отечественным вооружением. Промышленности и кустарям правительство оказывало самое усердное внимание. Двое умелых рабочих, Ивков и Владимиров, получили за труд звания поручиков; фабрикантов бумаги возводили в ранг майоров. В тяжелой индустрии, размещенной на отдаленных окраинах империи, обрастали дворянством и наградами знаменитые фамилии Твердышевых, Мясниковых, Собакиных, Яковлевых и Демидовых (все они вышли из мужиков-умельцев). А на далекой Печоре крестьянин Прядунов налазил первую в стране перегонку нефти – в целях лечебных и осветительных, и русская нефть уже экспортировалась в Европу. Успехи русской агрокультуры познавались тогда не по книгам – в застольях. Никого уже не удивляло, если подмосковный крестьянин вез продавать на базар лимоны и апельсины, в парниках вельмож вызревали виноград и ананасы; даже близ Полярного круга соловецкие монахи умудрялись выращивать дыни и персики. Избалованная модница, Елизавета желала, чтобы вологодские кружева были не хуже брюссельских, чтобы дамские туфли перещеголяли своим изяществом лучшие тогда в Европе варшавские... Богатейшая страна со сказочными ресурсами имела в своих недрах все, что нужно для бурного экономического развития, и единственное, чего не хватало России, так это рабочих рук! Отовсюду слышались жалобы на нехватку тружеников, а гигантские черноземы за Волгою, колышась вековым ковылем, еще сонно ждали, чтобы в их нетронутую сыть бросили первое зерно...

В самом центре этой работающей страны, еще не достроенной и вечно клокочущей бунтами, в душных палатах московского Кремля, жарко разметавшись на драгоценных сибирских соболях, сейчас умирала ангальтская девочка.

...

Весть о тяжелой болезни Фике достигла и Берлина.

– И надежд на выздоровление мало?

– Их уже не осталось, – ответил Подевилльс.

Король свистнул, подзывая любимых собак, чтобы они сопровождали его до парка, и надел шляпу задом наперед.

– Ну что ж. Если часовой убит на посту, его заменяют другим, а потому готовьте для Петра новую невесту... Германские принцессы – самый ходовой товар в Европе. Кто у нас там в запасе? Вюртембергская дрыгалка, две корявые сестрицы Гессен-Дармштадтские. Выберите сами! В любом случае мы не упустим престола русского...

Но Фике не умерла и через месяц появилась на публике. «Я похудела как скелет, – рассказывала она о себе в мемуарах, – сильно выросла, лицо вытянулось, волосы выпали, и я была бледна как смерть. Я сама себя находила такой некрасивой, что было страшно смотреть. Императрица прислала мне банку румян с приказом нарумяниться».

Скоро Фике заговорила по-русски, вызывая своим акцентом и ошибками шумное веселье среди придворных. Но это не смущало ее: она уже нырнула в московскую жизнь с головой, следовало плыть дальше. Фике часто притворялась спящей и, лежа с закрытыми глазами, слушала болтовню придворных дам, выведывая от них то, что нельзя выяснить путем официальным. Так, она узнала, что ее мать не пришлась ко двору, заслужив в обществе ехидную кличку «королева». Русские быстро разгадали ее пустоту и фальшь, их смешили напыщенная вычурность выражений и жеманное чванство герцогини. Фике было стыдно за мать и обидно, что та

растерзала ее гардероб. Елизавета вторично обрядила Фике с головы до пят, но каждая новая вещь вызывала материнскую зависть. Герцогиня отнимала у дочери куски парчи и меха, туфли и шали. В сердцах Фике однажды сказала ей:

– Ах, ваша светлость, знали бы вы, как мне прискучило ваше неистребимое грабительство...

И получила от матери здоровенную оплеуху! Но однажды после обеда с женихом в комнате к Фике вошла Елизавета, сурово указавшая Иоганне Елизавете следовать за нею для разговора. Фике с Петром уселись на подоконник, разболтались о пустяках. Была весна, все цвело, пели птицы. Вдруг явился Лесток.

– Не пора ли вам укладывать багаж? – сказал он принцессе. – Кажется, вам предстоит возвращение в Цербст...

Фике, ослабев, вяло сползла с подоконника. Петр спросил лейб-хирурга – что значат его угрозы, но врач лишь усмехнулся. Наконец появилась Елизавета, распаленная от гнева, а за царицей, будто побитая собака, тащила рыдающая «королева». Императрица широко шагнула к Фике, долго изучала лицо девочки. Сказала:

– Ныне на дворе нашем век уже осмнадцатый, век просвещенный, и дети за грехи родительские неповинны должны быть. – Заметив, что Фике перепугана, она улыбнулась: – Оконфузил тебя Лесток? Ну-ну! Жить в России да не пугаться – такого не бывает...

Истина открылась не сразу: регулярно перлюстрируя письма, Елизавета вызнала, что «сестрица» приехала погостить – как шпионка прусского короля. Ей было поручено свернуть шею канцлеру Бестужеву, а частные свидания герцогини с Мардефельдом навели царицу на мысль о разветвленном заговоре. Но выставить шпионку за рубежи Елизавета могла лишь после свадьбы. Однако медицинская комиссия бракосочетанию воспротивилась:

– Его высочество Петр Федорович нужных для брака кондиций не обрел!

И надеялись, что организм великого князя окрепнет лишь через два года. Но разве можно допустить, чтобы прусская шпионка еще два года толкалась в передних дворцовых? Летом царица ускорила миропомазание принцессы Фике, которая восприняла от купели веру греческую, получив православное имя – Екатерина Алексеевна.

Перед обручением Екатерина постилась, неделю просидев на рыбной пище, облитой подсолнечным маслом. А когда в церквах провозгласили ектению за «благоверную Екатерину Алексеевну», царица украсила шею невестки ожерельем в 150 000 рублей:

– Но гляди, как бы охотники не сняли с тебя...

Екатерина поняла, в кого она метит. Мать, уже неспособная вести интригу в пользу Пруссии, начала интриговать против дочери. Ее сердце преисполнилось грубой зависти к высокому положению Фике, которая из принцессы превратилась в великую княгиню.

Гремели колокола и стреляли пушки. В ее честь!

...

Обретя под ногами русскую почву, Екатерина оживилась, быстро похорошела. Императрица переслала ей 30 000 рублей «на булавки», которые она тут же спустила за картами. Мотовство не укрылось от взора проницательной Елизаветы. В театре она зазвала наследницу престола в свою ложу и в присутствии Петра и Лестока устроила невестке хорошую баню:

– Что-то уж больно рано финтить стала, голубушка! Когда я в цесаревнах ходила, так, бывало, и соленому огурчику радовалась. А ты, едва приехав, сразу мотать стала... Гляди мне!

Самое обидное было в том, что будущий супруг гнусно злорадствовал над нею, и Екатерина сказала ему:

– Как вы можете, сударь, потешаться надо мною, если видите, что я, ваша супруга нареченная, горько плачу?

А осенью, когда двор длинными обозами стал перетягиваться в Петербург, великий князь заболел оспой. Исход болезни был еще неясен, и герцогиня заранее начала хлопоты перед королем Пруссии, чтобы он подыскал для Фике нового жениха... Петр Федорович, весь в гнойной коросте, остался лежать на станции Хотилово, а герцогиня внушала дочери, что не стоит огорчаться:

– Еще не все потеряно! Георг Дармштадтский славный солдат. Говорят, большой весельчак и принц Баден-Дурлахский...

Но Екатерине уже плевать на Дармштадт, ей и дела нет до Баденского герцогства. Мать осеклась под ее упорным взглядом.

– Я вам приказываю молчать! – выпалила Екатерина...

По сторонам дороги стлы великолепные леса, в белом пуху сидели на елках красногрудые снегири. Двое саней плыли в сверкающем безлюдье: Елизавета срочно повернула назад от Петербурга на Хотилово, а навстречу ей мчались сани с Екатериною. Где-то за Новгородом встретились. Две женщины (одна уже пожившая, все испытавшая, а другая едва вступающая в этот мир) долго плакали в объятиях друг друга. Беспокорство царицы понятно: умри сейчас Петр – и тогда из заточения поднимется Брауншвейгская династия. Еще более понятно и горе Екатерины: умри сейчас Петр – и перед нею снова поднимется полосатый шлагбаум Цербстского княжества. Девушка взмолилась, чтобы царица взяла ее с собой в Хотилово, но Елизавета, волоча по сугробам полы шубы, уже пошла к саням:

– Сама справлюсь! Эй, Сереженька, трогай...

Екатерина с матерью поселились в Петербурге на Фонтанке. Десять раз перевозакивали мебель по комнатам, потому что, стоило Екатерине обосноваться, как герцогиня сразу же находила, что у дочери антураж лучше материнского. В довершение всего мать возобновила связь с Иваном Бецким и забеременела. Непорочной Екатерине было противно наблюдать, как ее маменька мечется по аптекам в поисках тайного способа избавиться от нечаянного приплода. Наконец царица привезла в Петербург выздоровевшего племянника. Петр был ужасен! «Я испугалась, увидев его, – вспоминала Екатерина, – черты лица огрубели, лицо было вспухши... он был в громадном парике, который еще больше безобразил его». С детства она умела владеть собою, но сейчас не могла скрыть отвращения к жениху. Кинувшись в спальню, великая княгиня дала волю слезам. Это была естественная реакция здорового организма на всякое уродство... Наплакавшись, она решила подавить в себе отвращение к уроду, чтобы не потерять великой России!

...

Вскоре опять возникла неприятность – Елизавета вплотную подошла к герцогине, сказав ей так:

– А ты, сестрица, еще не образумилась? Что вы там с бароном Мардефельдом по углам, будто тараканы за печкой, шушукаетесь? Я ведь из Хотилова все примечала...

Елизавета назначила свадьбу на 25 августа, а до свадьбы посоветовала «сестрице» совершить увлекательную прогулку по Ладожскому каналу. Разумовскому она сказала:

– Пусть ее там комары наши съедят, чтоб ее черт побрал, курву цербстскую, прости меня, господи, царица наша небесная!

...Екатерина писала: «По мере того, как день моей свадьбы приближался, я делалась все грустнее. Сердце не предсказывало мне счастья: одно лишь честолюбие поддерживало меня. У меня в глубине сердца было что-то такое, что никогда не давало мне ни на минуту сомневаться, что рано или поздно я сделаюсь самодержавною повелительницею России».

6. Игры в куклы

Как и всегда на Руси, к назначенному сроку ничего готово не было, но желание Елизаветы поскорее избавиться от ангальтской «сестрицы» было столь велико, что она решила:

– Сроков свадьбы не изменять! Чего там еще не хватает нам? Виллок-то? Так и руками все со столов растащат. Материй разных? Так мы, слава богу, не голыми на четвереньках бегаем...

В эти сумбурные дни жених пропадал в лакейских, где в хамской компании осваивал уроки супружеских обязанностей. Некто Румбер, бывший драгун шведского короля, дал Петру немало полезных брачных советов, смысл которых дошел до нашего времени: «Жена не смеет дышать в присутствии мужа; только дурак позволяет жене иметь собственное мнение; одна хорошая затрещина, вовремя отпущенная, лучше всех убеждений действует на любую женщину...»

В ожидании свадьбы Елизавета не веселилась; только близкие ей люди (Разумовские, Шуваловы да Воронцовы) знали о тревогах императрицы. Пока жив Иоанн Антонович, покоя ей не видать: сверженный император стал знаменем, под которым собирались все недовольные ее правлением. Даже в своем дворце Елизавета не чувствовала себя в безопасности. Недавно за ширмой туалетной комнаты, где она подолгу прихорашивалась, обнаружили человека с черным котом на руках. Неизвестного подвергли самым изуверским пыткам, но так и не дознались – кто он таков и зачем ему понадобился кот? Елизавета была убеждена, что противу нее умышлено злодейское чародейство, ибо от черных котов добра не жди... Эти волнения заставили царицу спешить со свадьбой, а молодоженам вменялось в обязанность не медлить с зачатием наследника, чтобы на престоле русском утвердилась ветвь династии Романовых, продолженная от Петра I.

Наконец герольды в сверкающих латах, под бравурные возгласы литавр, оповестили столичных жителей о предстоящем торжестве. Перед зданием Адмиралтейства народ собирался заранее, уже примеряясь к массовой атаке на винные фонтаны, к дружному штурму пирамид, сложенных из прожаренных бычьих туш, из разных рыбок, псковских и астраханских. Неву украсила эскадра, на резвом ветру празднично плескались флаги. Екатерину отвели в парную баню, где императрица, по русскому обычаю, выстегала ее веником до полного изнеможения. Ужинать невесте было указано в одиночестве – без гостей-охальников. На ночь же, для соблюдения уличной тишины, расставили сторожей, которые никому не давали проезда, дабы не потревожить предсвадебный сон великой княгини. В пять часов утра Екатерину разбудили залпы с кораблей – пора вставать. Сразу же начали и обряжание; волос не пудрили, а поверх вздыбленной прически невесты укрепили бриллиантовую корону. Даже мать, уж на что была завистлива, но и та признала:

– Дочь моя, вы сегодня восхитительны!..

Карета с невестой плыла меж шпалерами войск, которые выстроились от Зимнего дворца до Казанской церкви. На улицах была такая несусветная давка, что императрица, потная и всклокоченная, будто базарная торговка, лишь к часу дня сумела пробиться в церковь через густую толпищу. После обряда молебного войска палили в небо трехкратно, огнем беглым, а все храмы столицы неустанно звонили в колокола. Во дворце был устроен «большой» стол, но сразу же после мазурки новобрачных выслали с бала.

– С богом, ребята! – благословила их Елизавета.

Екатерина лежала в постели, но Петр не являлся. Лишь ближе к полуночи с хохотом вошла камеристка, сообщившая, что жених застрял на дворцовых кухнях и придет не скоро:

– Он ждет, когда ему поджарят котлеты...

Наевшись котлет, жених предстал. Музыка бала едва достигала спальни. Петр стащил Екатерину с постели, босую подвел к комоду, который они сообща и отодвинули от стенки. Здесь Петр прятал кукол!

– Давай, – предложил он жене, – мы с тобой поиграем...

В эту брачную ночь, играя с Петром в куклы, Екатерина твердо осознала, что мужа у нее нет и не будет. Но даже в глубокой старости острой болью отзывались ее слова: «По себе ведаю, какое это несчастье для женщины иметь мужа-ребенка...»

...

С превеликим удовольствием Елизавета Петровна выставила за рубежи герцогиню Ангальт-Цербстскую, которая молила простить ее. Императрица умела быть и жестокой.

– Мадам, – отвечала она, никак ее не титулуя, – теперь уже поздно каяться, а горбатых на Руси могилами исправляют...

Со слезами на глазах мать призналась дочери:

– Фике, какое ужасное положение – я не могу уехать! Я наделала в России долгов на шестьдесят тысяч рублей...

Но Екатерина тоже не хотела видеть свою мать в Петербурге, потому приняла долги на себя (и долгих 17 лет расплачивалась за материнское распутство). В Риге герцогиню настиг расчитанный удар – Елизавета буквально убила шпионку своим письмом: «Мадам! Я за потребно расудила вам рекомендовать, по прибытии вашем в Берлин, его величеству королевусу Прусскому внушить, что мне весьма приятно будет, ежели министра своего барона Мардефельда из Петербурга отзовет...» После этого с какими глазами она могла предстать перед королем? Она, которая из России оболыщала Фридриха в письмах, что ее присутствие здесь укрепляет положение посла Мардефельда, – и вот теперь герцогиня должна признать, что король ею обманут... Фридрих был действительно повержен этим письмом. Он долго молчал, потом тихо заметил Подевилъсу:

– Я не думал, что эта ангальтинка так глупа. Будем надеяться, ее дочь окажется умнее матери. Депешируйте ко двору Елизаветы, что любое желание русской императрицы я счастлив исполнить... Кстати, – спросил он, заостряясь носом, – не попался ли нам в лапы последнее время русский шпион?

– Один схвачен.

– Кто он?

– Капитан вашей доблестной армии – Фербер.

– Отлично, – сразу повеселел король...

В ответ на отозвание Мардефельда он публично отрубил голову русскому агенту Ферберу. В ответ на казнь своего шпиона Елизавета сослала на Камчатку прусского агента Шмитмана:

– Сказывали мне на Камчатке бывавшие, будто там земля трясется. Вот и пушай потрясуха эта до Берлина дойдет...

За этим обменом любезностями чувлось нечто злое.

А Петербург был прекрасен! Прямые перспективы еще терялись на козых выгонах столичных окраин; трепеща веслами, как стрекозы прозрачными крыльями, плыли в невскую синь красочные, убранные серебром и коврами галеры и гондолы, свежая речная вода обрызгивала нагие спины молодых загорелых гребцов...

Екатерина была глубоко несчастна.

...

Отозвание Мардефельда стало для неё первым практическим уроком; посол короля провёл в России целых 22 года, служил ещё при Петре I, но Елизавета его не пощадила, – девушка сделала вывод: политика не терпит сентиментальности. А второй урок получила, когда из холмогорского заточения доставили в Петербург мертвую Анну Леопольдовну, мать сверженного императора. Тело бывшей правительницы России было выставлено в монастыре Александро-Невской лавры, открытое для свободного обозрения публики. Елизавета собиралась навесить покойницу с утра, но, как всегда, заболталась с портнихами, и поехала в конец города только к вечеру. Могильщики, вскрыв настил усыпальницы, как раз докапывали яму; чадно горели свечи и факелы, освещая гроб с богато одетой покойницей. Елизавета, нагнувшись над ямой, оделила мужиков рубликом на водку и велела им копать глубже. Потом, притопнув ногою в каменные плиты, объяснила молоденькой невестке:

– А вот тут и матка её полеживает, Катерина Иоанновна Мекленбургская, тоже язва была хорошая... Все они, как подумаю, из-под одного хвоста выпали! Великие неурядицы несли на Русь...

Общий страх объединял женщин, стоящих над раскрытой могилой, – страх за будущее короны. В обширной карете, возвращаясь во дворец, Елизавета призналась невестке, что малолетний Иоанн содержится ею под крепчайшим караулом:

– А стражам указано не объяснять узнику – кто он таков и ради чего живет. Пусть мыслит о себе: червь я, и только...

Екатерина сделала вывод: «Политика бескровной не бывает». А постылая жизнь в супружестве не радовала. Французский атташе граф д'Аллион докладывал в Версаль: «Великий князь все ещё никак не может доказать супруге, что он является мужчиной». Екатерина играла по ночам в куклы, которых не выносила ещё в детстве. Иногда Петр ублажал молодую жену партией в карты на воображаемые ценности. Скинув с головы ночной колпак из бурой фланели, он говорил запальчиво, изображая транжиру-богача:

– Вот вам мои сто миллионов. Сколько ставите против?

Екатерина водружала на стол туфлю с ноги:

– Ах, дьявол вас побери, до чего надоели мне вы со своими фантазиями... Ставлю башмак – в триста миллионов!

Сразу же после свадьбы Петр признался, что безумно влюблен во фрейлину императрицы Катеньку фон Карр.

– На что вам ещё и фрейлина, – хмыкнула Екатерина, – если и со своей-то женой вы не знаете что делать.

– Ты дура... дура, дура! – закричал Петр; выскочив в приемную, где читал газеты камер-юнкер Девиер, великий князь стал горячо доказывать тому, что Екатерину даже нельзя сравнивать с божественной фрейлиной фон Карр. – Вы же сами видите, граф, как она уродлива, как она коварна и мстительна.

Девиер осмелился благородно возразить.

– Не возражать! – велел ему Петр. – Ты тоже дурак...

Екатерина хронически не высыпалась. Обормот устраивал на рассветах «развод караулов», передвигая по комнатам тысячные легионы оловянных солдатиков, при этом сонные лакеи, держа в руках листы кровельной жести, разом их встряхивали (дребезжание жести означало салютацию из мнимых пушек). Потом он пристрастился к собакам, разведя в покоях целую свору, дрессируя их шпицрутенами и плетями. «И когда все это кончится?» – терзалась Екатерина, оглушаемая то грохотом жести, то жалобным воем несчастных животных. Не в силах выносить собачьего визга, однажды она вышла в соседнюю комнату, где и застала такую картину: вниз головой, подвешенная за хвост к потолку, висела жалкая собачонка, а муж сек её плеткой. Екатерина вырвала из рук мужа хлыст, забросила его к порогу:

– Сударь, неужели вы неспособны найти себе дела?

– Хорошо, – покорился ей Петр, – тогда я поиграю немножко на скрипке, а ты меня послушай...

Как мужу, так и жене абсолютно нечего было делать. С горечью Екатерина призналась Кириллу Разумовскому:

– Ожидание праздника лучше самого праздника...

В разговоре с гетманом впервые было произнесено имя Вольтера, оставившее Екатерину постыдно-равнодушной: о Вольтере она ничегошеньки не знала! От страшной скуки она спасалась в чтении романов (пока только романов). Она читала о принцессах настолько нежных и тонкокожих, что когда они пили вино, то было видно, как ярко-красные струи протекают по их горлам, будто через стеклянные трубки...

В один из дней ее лакей Вася Шкурин провинился. Екатерина спокойно заложила в романе недочитанную страницу, вышла в гардеробную и – бац, бац, бац! – надавала Васе пощечин.

– А если тебе еще мало, – заявила она лакею, – так я велю отвести на конюшню и там выдрать...

Маленькая принцесса Фике, ты ли это?

7. Нет, нет – да, да!

Не в силах сам наладить с Екатериной нормальные супружеские отношения, Петр начал поощрять мужчин к сближению с нею. Об этой опасности Екатерину предупредил тот же Вася Шкурин:

– Поостерегись, матушка, на тебя уже собак стали вешать. В городе сказывали, будто ты с графом Девиером милуешься.

– Этого мне только и не хватало сейчас...

Очень редко Петра тянуло к книгам, привезенным из Голштинии. Половина его библиотеки – жития апостолов церкви, другая половина – истории знаменитых разбойников. Почитав о канонизированных в святости, Петр брался за синодики колесованных, обезглавленных, сожженных на кострах и сваренных в котлах с кипящим маслом... Екатерина читала много. Но скоро все эти глупые пасторали о любви пастушка к пастушке, бесстыжие Хлои и Дафнисы порядком ей надоели. Это была не жизнь, а лишь замена жизни вычурной непристойной выдумкой. С некоторой робостью девушка обратилась к познанию истории. Но едва прикоснулась к настоящей литературе, как сразу же – почти с ужасом! – сама увидела, насколько она необразованна: читала и не понимала, что читает. Кирилла Разумовский, всегда смотревший на нее несатыми глазами, подсказал, что надо бы на досуге перелистать Пьера Бейля... Екатерина не постеснялась спросить:

– Бейль... А кто это такой?

Бейль оказался философом-еретиком прошлого столетия (он был предтечей энциклопедистов, от него до Монтеスキе и Вольтера оставался один шаг). И целых два года Екатерина изучала «Философско-критический словарь» Бейля, от которого можно двигаться дальше, уже не боясь заблудиться в литературных дебрях... Письма мадам Севинье сразу захватили искренностью человеколюбивых убеждений. Екатерина, взволнованная чтением, наспех выводила собственные сентенции: «Свобода – душа всего на свете, без тебя все мертво. Желаю, чтобы люди повиновались законам, но не рабски. Стремлюсь к общей цели – сделать всех счастливыми!» Потом она взялась за Брантома, поразившего ее цинизмом придворных нравов Европы в XVI веке. Любую мерзкую гадость Брантом возводил в дело доблести, и Екатерина подсознательно усвоила для себя на будущее, что мораль, как и политика, есть ценность изменчивая. Самый низкий инстинкт может заслужить в истории одобрение, если его оправдать тезисом – ради чего это сделано? Вслед за Брантом великая княгиня изучила одиннадцать томов германской исто-

рии, дойдя на последних страницах уже до своих современников, и вынесла из этих книг подозрительное внимание к вороватой Пруссии, ставшей в ее глазах разрушительницей германской общности. Наконец Екатерина открыла и жизнеописание Генриха IV, над которым смеялась, ликовала, завидовала и плакала... Развратный сластолюбец, пьяница и бабник, но монарх мудрейший, он вывел Францию, раздираемую распрями, в число ведущих держав мира, но был глубоко несчастен в семейной жизни. Этот безобразный и гениальный король стал любимым героем Екатерины... В руки попало что-то и Вольтера, но, зевая, Екатерина забросила его подальше: до понимания Вольтера она еще не доросла!

А однажды ночью Петр взобрался к ней на постель, противно липкий от пива, и стал рассуждать о том, как очаровательна горбатая принцесса Гедвига Бирон, недавно бежавшая в Петербург от своего отца из ярославской ссылки:

– Вот если бы и ты была такой!

– Такой же горбатой?

Петр ударил ее. Екатерина вздрогнула:

– Это что? Уроки драгуна Румбера?

Еще удар. Прямо в лицо. Екатерина смолчала.

«Боже, сколько в мире прекрасных мужчин...»

...

Поздно (даже слишком поздно!) в Екатерине стало пробуждаться женское начало – она с радостью ощутила, что способна нравиться. Изредка кавалерам удавалось во время танцев нашептывать ей на ушко, какой у нее стройный стан, как волшебю сияют ее глаза. Екатерина, лишенная мужского внимания, впитывала такие слова, как воду пересохшая губка. К двадцати годам она развилась в статную, крепкую женщину с сильными мышцами рук и ног. Теперь даже ей самой было ясно, что обликом она пошла в мать: такое же удлиненное лицо с выступающим подбородком, продолговатый прямой нос и крохотный ротик, который при напряжении мысли или нервов сжимался в одну яркую точку.

Екатерина быстро освоилась с суровым климатом России; как и всем здоровым людям, ей пришлось по вкусу трескучие морозы, бурные весенние ливни и летняя истомляющая теплынь, насыщенная ягодным и цветочным духом. Ее часто видели скачущей на коне в окрестных лесах Петербурга – она была способна, как лихой гусар, по тринадцать часов в сутки проводить в седле. Когда до императрицы дошло, что Екатерина ездит, сидя в седле по-мужски, она вызвала невестку к себе – ради выговора:

– Ежели еще раз сведаю, что по-татарски ездешь, велью лошадей у тебя забрать. – Императрица сказала, что от такой позы женщина становится бесплодна. – А я уж заждалась от вас, когда вы меня наследником престола порадуете...

Екатерина изобрела особое седло: в публичных местах скакала по-английски, свесив ноги на одну сторону, а когда вокруг никого не было – рраз! – и левая нога перекидывалась через луку, следовал укол шпорою, и Екатерина проносилась дальше, не разбирая дороги, отважно перемахивая через кусты и канавы, возбужденная, с длинными растрепанными волосами... Поживая в Ораниенбауме, она вставала с первыми птицами, вылезала в окно. Внизу ее поджидал верный егерь Степан, они шагали к устью канала, заросшего высоким тростником, где охотились на уток. И был у Екатерины верный рыбак-чухонец, дядюшка Микка, который не раз выгребал утлую ладью в море так далеко, что не виднелись берега. Освеженная и бодрая, в солдатских штанах в обтяжку, неся ружье и ягдташ с добычей, Екатерина возвращалась в Китайский дворец, где еще только продирали глаза ее разлюбезный. Истерзанный жестоким похмельем, Петр отпивался крепким кофе, бегал на двор блевать и сосал вонючие трубки.

Рядом с цветущей, жизнерадостной супругой Петр казался вышедшим из гарнизонного госпиталя, где его лечили-лечили, да так и выпустили на волю, недолечив...

Муж-ребенок требовал от жены постоянного присмотра. Великокняжеские покои в Летнем дворце на Фонтанке соприкасались с комнатами императрицы. И вот как-то, услышав за стеною голоса, Петр Федорович, недолго размышляя, схватил коловорот и просверлил в стене дырки. Увиденное на половине тетюшки так ему понравилось, что он стал созывать фрейлин, истопников, лакеев и горничных – понаблюдать за интимной жизнью императрицы. А чтобы наблюдать было удобнее, Петр велел расставить напротив дырок кресла, как в театре.

– А ты почему не смотришь? – спросил он жену.

– Какая подлость! – отвечала Екатерина. – Сейчас же убирайтесь все отсюда, пока я не позвала гофмаршала...

Елизавете о дырках донесли. Явившись, она отхлестала племянника по лицу. При этом, обуянная гневом праведным, она сказала, не выбирая выражений, что у ее батюшки Петра Первого был сынок, царевич Алексей, который тоже немало чудил:

– Так спроси у Штелина – что с ним случилось?..

Слово за слово, и возник семейный скандал. Елизавета кричала, что если «дохляк» добра людского не ценит, так она всегда сыщет способы, чтобы от него избавиться:

– Ты жену слушайся, урод несчастный! У тебя умишка хватило лишь на то, чтобы стенку расковырять, а жена-то умнее тебя, она подглядывать не полезла...

Дырки залепили хлебным мякишем. После этого случая канцлер Бестужев сочинил инструкцию для Петра, как вести себя в обществе. Наследнику советовали не выливать остатки пива на головы лакеев, не корчить рожи перед духовнослужителями и послами иноземными, в разговоре не дергаться всеми членами тела, а внимать собеседнику с видом благонаправленным. Инструкция деликатно внушала: «брачную поверенность между обоими императорскими высочествами неотменно соблюдать». Сие значило – как можно скорее родить наследника!

Елизавета накануне перлюстрировала письмо нового прусского посла Финкенштейна к королю. «Надобно полагать, – сообщал посол, – великий князь никогда не будет царствовать в России... он так ненавидим всеми русскими, что непременно должен лишиться короны. Непонятно, как принц его лет может вести себя столь ребячески. Великая же княгиня ведет себя совершенно иначе!» Это правда: Екатерина, не теряя времени зря, завоевывала симпатии в свете. Пожилых статс-дам расспрашивала о здоровье, с почтением внимала рассказам генералов о битвах, наизусть знала, у кого в какой день именины, не забывая принести поздравления. Екатерина осваивала генеалогию русской знати, чтобы познать изнутри сложную структуру родственных отношений; навещала больных старушек, помнила клички их любимых мосек, мартышек и попугаев... Средства легкие, но они очень помогали Екатерине сживаться с русским обществом, в котором к ней уже стали привыкать, как к своему человеку. Она не фальшивила в своем поведении: от души веселилась на святках, каталась на санках с ледяных гор, играла с фрейлинами в жмурки, крестила чужих детишек – и все это делала с приятным лицом, радостно-шаловливая, неизменно отзывчивая к любым мелочам чужой жизни. В результате: Петр Федорович своими поступками терял во мнении общества – Екатерина же Алексеевна, напротив, много приобретала...

Царица между тем все чаще заводила речь о бесплодии. Она не раз подсылала к Екатерине повитуху, а к Петру своих врачей, чтобы доложили научно: кто из супругов более виноват? Елизавета даже приставила к племяннику бойкую вдову живописца Гроота, обещая ей в мужа генерала, если сумеет побудить Петра к любовным прихотям. Но Екатерина осталась в прежнем положении, и тогда у нее состоялся деловой разговор с императрицей.

– Вот что, миленькая! – объявила Елизавета. – Не знаю, каково уж вы там столько лет миндальничали, но толку-то от ваших высочеств, как с козла молока... А ежели от мужа нет

явного пособления, так его надобно на стороне сыскивать. И не воротись от меня – эдак-то всегда при дворах знатных поступали!

После чего в придворном штате «малого» двора появился новый камер-юнкер, и Екатерина отметила: «Прекрасен, как ясный день». А звали его Сергеем Салтыковым...

...

Елизавета Петровна, как дневальный у ящика с казенными деньгами, бодро стояла на страже нравственности придворных, карая блудолюбивых дам и кавалеров острижением волос или коленостоянием в углу на сухом горохе. Но так как сама-то она являла образец обратного тому, что от других требовала, то по этой причине веселый, неугасающий и даже бесшабашный разврат стал при дворе Петербурга делом привычным и, пожалуй, даже вмененным в прямую обязанность придворных... Екатерина от первых шагов по русской земле была окружена людьми, в лексиконе которых преобладало слово «махаться». Вокруг великой княгини влюблялись, разводились и сходились – когда с трагическим надрывом, когда с комическим легкомыслием. Трепетали от амурных «маханий» едва окрепшие девочки-фрейлины, даже маститые кавалерственные дамы, имевшие внуков сержантами в гвардии, пускались во все тяжкие, и это уже никого не удивляло. Конечно, молоденькой женщине было нелегко в этом вертепе, но Екатерина лишь кокетничала с мужчинами, никогда не переступая границ дозволенного. Только на маскарадах, где все равны под масками, Екатерина с пунцовой розой в черных волосах, загримированная под пажа, вакханкой висла на шеях рослых гвардейцев, интригуя отчаянно:

– Поцелуй меня, маска, только поцелуй через маску...

Дабы назначение Салтыкова не слишком бросалось в глаза, смышленная Елизавета прислала к «малому» двору и Левушку Нарышкина, забавлявшего Екатерину всякими дурачествами. И пока этот «шпынь» увеселял придворных, Сергей Салтыков рисовал перед Екатериной упоительную картину тайных наслаждений. Она вздыхала:

– Откуда вам знать – свободно ли мое сердце?

Этот разговор состоялся весной 1752 года, и все лето Екатерина успешно отбивала настойчивые атаки красавца. Салтыков даже силой пытался проникнуть в ее спальню, но великая княгиня загорела двери комодом – и спаслась от штурма!

– Ваша смелость способна погубить меня, – сказала она дерзкому. – Не забывайте, что я жена наследника престола...

В августе двор табором отъехал в подмосковное Раево, где на острове была устроена охота на зайцев. Лошадей переправили водой на пароме, гости добирались на остров в лодках. Салтыков бдительно держался возле подола Екатерины, словно приклеенный, но она, спрыгнув на берег первой, татаркой вскочила в седло, вихрем понеслась в сторону леса – за отдаленным лаем гончих собак. Салтыков настиг ее на солнечной поляне, густо покрытой ромашками, вокруг не было ни души.

– Уйдите наконец! – взмолилась Екатерина.

Но внимательнее, чем обычно, выслушала признания в любви. («Он рисовал мне продуманный план, как держать в глубокой тайне то счастье, которым можно наслаждаться в подобном случае. Я не проронила ни слова...») Салтыков настаивал:

– Сознайтесь, что вы ко мне неравнодушны.

«Он начал перебирать всех придворных и заставил меня согласиться, что он лучше других; из этого он заключил, что мой выбор должен пасть на него...» Разговор затянулся, сделавшись мучительным для обоих. Лошади переступали нетерпеливо.

– Езжайте прочь, – строго велела Екатерина.

Салтыков не повиновался великой княгине:

– Я отъеду лишь в том случае, если услышу от вас, что вы думаете обо мне гораздо чаще, нежели вам хотелось бы...

Екатерина, изогнувшись в седле, взмахнула хлыстом. Ударила лошадь салтыковскую, потом стегнула и свою.

– Вы победили! – вскричала она. – Только убирайтесь к чертовой матери, чтобы я вас больше никогда не видела.

Строптивые кони разнесли их в разные концы поляны.

– Слово вами дано, – услышала Екатерина издалека.

– Нет, нет, нет! – отвечала она, чуть не плача.

– Да, да, да! – донеслось из леса.

...

По неопытности она не обратила внимания на первые изменения в организме. Зима закружила ее в праздниках, летом 1753 года отъехали из Москвы в село Люберцы, и здесь Екатерина, загорелая и жилистая, как дьяволица, с ружьем гонялась по лесам, охотясь. На именинах мужа танцевала до упаду, а после танцев выкинула мертвого ребенка... Это случилось на бивуаке, в походной палатке, под гудение комаров! Восемь недель жизнь ее была в опасности. Оправясь, Екатерина с новой силой отдалась удовольствиям. Левушка Нарышкин, совершенно безразличный к нравственной стороне жизни, говорил Екатерине откровенно:

– Вы не спрашивайте меня – можно ли то, что хочется. Вы спрашивайте – как получить скорее то, что хочется, и я для вашего высочества в лепешку расшибусь, а все сделаю...

«Шпынь» был предан Екатерине даже не беззаветно, а скорее бессовестно! Вскоре у великой княгини появилась и подруга, графиня Прасковья Брюс, шептавшая горячо и призывно:

– Доверься моему опыту, милая Като, и я сегодня же ночью обещаю тебе самые жгучие тайные удовольствия.

Ночью Нарышкин скребся в двери, мяукая по-кошачьи.

– Мрр... мррррр, – мурлыкала Екатерина.

Это значило, что она готова к рискованным похождениям. В мужских костюмах, подобранных волосы под шляпы, подружки воровски исчезали из дворца, до зари пропадая... где? Весной Екатерина доложила императрице о новой беременности и рассчитала, что родит в последних числах сентября 1754 года.

– Ишь какая точная стала! – отвечала Елизавета с ехидцей. – Мне твои расчеты уже знакомы. Но теперь крутиться по палаткам не дам. Кончай танцевать и посиди-ка в карантине...

Чтобы невестка не порхала, она приставила к ней Александра Шувалова – великого инквизитора империи, а Салтыкова публично обозвала «сопляком» и выпроводила красавца за границу.

8. Начинается Екатерина

С тех пор как Фике вступила на русскую землю, ее всюду подстерегали опасности. Иногда даже со смертельным риском. Болезни в счет не идут! Но не бывало года, чтобы не стряслось беды. Почти в каждой поездке «несли» ее лошади, вдребезги разбивало кареты, под Екатериной проваливались в реки мосты. А однажды в Гостилицах рухнуло здание, погребя под развалинами 19 человек, и только случайность спасла Екатерину от гибели. В пламени пожаров она теряла свои гардеробы, мебель, книги. От частых столкновений с опасностями осмелела, говоря:

– Приговоренная к веревке не сторит и не утонет!

Но летом 1754 года Екатерину с великим бережением доставили из Москвы в Петербург, лошади ступали шагом, проезжали за день не более 30 верст (эта дорога взяла у нее месяц жизни). Шувалов не спускал с нее глаз. Ближе к осени, когда двор вернулся из Петергофа в столицу, он отвел беременную женщину в пустую комнатку Летнего дворца, где было много пыли и мало мебели.

– Желаю вашему высочеству, – сказал Шувалов, – в сем милом убежище порадовать ее величество родами легкими и приятными...

Екатерина поняла, что в этой конуре ей будет так же хорошо, как собаке в будке. Словно перед смертью, простилась она с близкими и, почувяв первые боли, перешла в камеру своего заточения, сопровождаемая акушеркой фон Дершарт; по обычаю того времени, рожать следовало на полу, который и застелили матрасом. В два часа ночи Екатерина всполошила повитуху криком – начались схватки. Разбудили императрицу, прибежал Шувалов с женою. Совместно они послушали, как исходит криком Екатерина, и, перекрестясь, удалились... Десять часов мук закончились.

– Кто у меня? – спросила Екатерина.

– Мальчик, – ответила акушерка...

Моментально, будто из-под земли, нагрянули всякие бабки. Елизавета, командуя ими, опеленала новорожденного голубой лентой ордена Андрея Первозванного, все бабье, охая и причитая, удалилось с младенцем. Следом за ними скрылась и фон Дершарт.

– Пить... дайте воды, – просила Екатерина.

Никто не подошел, потому что подойти было некому. А встать она была не в силах. Екатерина лежала в неприятной сырости, мечтая о сухой простыне и большой кружке холодной воды.

– Люди, где же вы? – звала она, страдая.

Веселая музыка из глубин Летнего дворца была ей ответом. А в соседних комнатах мужа играли в бильярд и пьянствовали.

– Пить, – металась она. – Ну хоть кто-нибудь...

Великим князем Павлом, правнуком Петра I, она заслонила романовский престол от посягательств Брауншвейгской династии – ради этого позвали ее в Россию, не отказывали в забавах и нарядах.

– Люди, помогите же мне, – тщечно зывала она...

Комком собрала под собой мокрые простыни и ногами, плача, ссучила их в конец матраса. Ликующие водопады, опадая с безмятежной высоты, прохладно шумели в ее ушах, и она – пила, пила, пила... Вдруг явилась графиня Шувалова, безбожно разряженная в пух и прах, сверкая массою драгоценностей, уже порядком хмельная. («Увидев меня все на том же месте, она ужаснулась, сказав, что так можно уморить меня до смерти».)

– Воды, – взмолилась перед ней Екатерина. – Графиня, вы же сами женщина рожавшая... я умираю от жажды.

– Господи, да неужто я вас забуду?

И с этими словами ушла, больше не появившись. Музыка гремела и буйствовала, а вокруг Екатерины сосредоточилась вязкая, невыносимая и, казалось, противная на ощупь тишина. Все покинули ее! Летний дворец содрогался от плясок. Шла гульба – дым коромыслом, и никто о ней даже не подумал. Пьяный муж заглянул в двери, но тут же скрылся, крикнув жене, что ему очень некогда.

Было утро. И день миновал. Праздник продолжался.

Наступила ночь – уже вторая ночь.

– Пи-ить... пи-ить хочу-у! – осипло кричала Екатерина.

Наконец музыку выплеснуло из глубин дворца, возник меркнущий желтый свет, она услышала топот множества ног, будто ломилось целое стадо, и голоса пьяных людей, спеша-

щих к ней... В дверях явилась сама императрица! Елизавета была в розовой робе, отделанной золотым позументом, кружева фиолетовые, а пудра с перламутровым оттенком. Слов нет, она прекрасна, но была бы еще прекраснее, если б не была так безобразно пьяна! Вперед выступил камер-лакей, держа на золотом блюде «талон» Елизаветы о награждении роженицы немалыми «кабинетными» деньгами.

– Сто тыщ... копейка в копейку! – выпалила императрица (и, падая, успела ухватиться за лакея). – Наследника ты родила... вот и жалую! – Она со вкусом расцеловала лакея (очевидно, с кем-то его перепутав) и спросила: – Чего еще ты желаешь?

– Кружку воды, – ответила ей Екатерина...

Лишь через сорок дней Екатерине было дозволено впервые глянуть на сына. Ведьмы-бабки показали Павла с таким видом, будто они его где-то украли, и тут же проворно утащили младенца на половину царицы. Полгода дворцы Петербурга, царские и барские, тряслись от пьянственных катаклизмов: Елизавета, ее двор, гвардия и дворянство столицы неистово праздновали появление наследника. Екатерина в этом бесновании не участвовала.

Когда возвратился из-за границы ее любимый Сережа Салтыков, Екатерина взмолилась перед ним о тайном свидании:

– Утешь меня! Мне так плохо одной...

Обещал – и не пришел. Екатерина упрекала его:

– Как ты мог? Я всю ночь не сомкнула глаз. Ждала...

И получила ледяной ответ:

– Извини, Като! У меня в ту ночь разболелась голова...

«Ну что ж. Надо испытать и самое тяжкое для любящей женщины – да, следует знать, как ее бросают... безжалостно!»

...

Екатериною овладела меланхолия: «Я начала видеть вещи в черном свете и отыскивать в предметах, представлявшихся моему взору, причины более глубокие и более сложные». Именно в это время, оскорбленная и отверженная, она обратилась к Вольтеру.

Екатерина пришла к его пониманию через Тацита, через Монтеスキе с его высоким пафосом «Духа законов». Впервые она задумалась над словами – республика, абсолютизм, деспотия. Она постигала социальные сложности мира в канун очередной войны – войны России с Пруссией... Время было удобное для размышлений! Сейчас ей никто не мешал – даже сын, которого Елизавета скрывала от матери. Екатерина приучила себя читать даже то, что обычно никто не читает, – словари, энциклопедии, справочники и лексиконы. Неторопливо и обстоятельно, делая из книг обширные выписки, том за томом, не пропуская ни единого абзаца, как бы скучен он ни казался, великая княгиня взбиралась по лесенке знаний – все выше и выше... Был век осмнадцатый – век просвещенного абсолютизма, и она, разумная женщина, готовилась оставить свое имя в этом удивительном времени!

Екатерина удалилась от людей (как и люди от нее). В жутком, неповторимом одиночестве, окруженная лишь книгами, выковывалась новая Екатерина – с железной волей, поступающая всегда зрело и обдуманно, как полководец в канун решающей битвы. Вскоре она сама ощутила внутреннее свое превосходство над людьми при дворе. Нет, она, как и раньше, могла поболтать о пустяках, но даже в пустом житейском разговоре оставалась в напряжении мысли, которому никто не властен помешать...

Летом 1755 года иностранные послы уже начали извещать Европу о дурном здоровье Елизаветы. В эти дни царица выгнала прочь любимого садовника Ламберти, который, занимаясь пророчествами, предсказал императрице, что она умрет в расцвете славы русского оружия. Ламберти пешком приплелся в Ораниенбаум к Екатерине:

– Ты не боишься будущего? Так возьми меня...

Екатерина подальше от дворца (чтобы реже встречаться с мужем) развела в Ораниенбауме собственный садик. Ламберти был угрюм и, пренебрегая условностями двора, упрямо титуловал Екатерину словом «женщина», а у великой княгини достало ума не поправлять старика. Она очень скоро привыкла к согбенной фигуре садовника, бродившего среди цветочных клумб, и почти не замечала его.

Но однажды Ламберти сам окликнул ее:

– Женщина, подойди ко мне ближе.

– Чего тебе надобно? – спросила она, подходя.

– Я знаю, что тебя ждет.

– Так скажи. Я не боюсь будущего...

Ламберти послушал, как вдали кричат в зверинце голодные, озябшие павлины. Тихо-тихо всплескивало за парками море.

– Я вижу на твоём челе, женщина, долгое и пышное царствование. Но я читаю в твоём будущем такое множество пороков, что все твои добродетели должны померкнуть, омраченные преступлениями...

Он замолк. Екатерина сказала:

– Не бойся продолжать. Слушать тебя не страшно.

– А мне не страшно говорить, потому что я знаю: история не пишется только белыми красками. Сейчас ты, женщина, еще слишком молода и многого не понимаешь. Но придет время, когда ты осознаешь сама, что всю свою долгую жизнь была глубоко несчастна, как и те люди, которых ты властно увлекла за собою...

«Почти как у Генриха Четвертого», – подумала Екатерина.

– Что же мне делать? – спросила она.

– А ты, женщина, бессильна что-либо сделать. Судьба уже схватила тебя за волосы, и, как бы ты ни сопротивлялась ей, она все равно уже тащит тебя по той длиннейшей дороге, которая тебе (только одной тебе!) предназначена роком...

Он снова склонился к земле, а Екатерина пошла во дворец. Но, обернувшись, она вдруг крикнула Ламберти издали:

– Скажи, а скоро ли я стану царствовать?

– Тебе осталось недолго ждать...

Во дворце Ораниенбаума приятно грели каминны, а со стороны Кронштадта наплывали тревожные гулы осенних невзгод. Молодую женщину навестил граф Кирилла Разумовский, и она спросила его:

– Не скройте, гетман, какова была важная причина тому, что, помню, вы часто проскакивали верхом по сорок верст на лошади, бывая у меня в гостях чуть ли не ежедневно.

– Я желал видеть вас.

– Так ли это было вам нужно?

– Ради любви к вам – да, нужно.

– Вот как? Отчего же молчали тогда?

– Не хотел тревожить вашей юности.

– Вы и сейчас любите меня, гетман?

– Я отвечу иначе: если вам когда-либо понадобится моя помощь, прошу располагать мною – я ваш вечный рыцарь...

Разумовский откланялся столь резко, что в шандалах разом наклонилось пламя свечей. Еще ничего не было решено, и Екатерина, с надрывом вздохнув, раскрыла на коленях томик Вольтера.

...

В грустящем парке Ораниенбаума такой безысходной печалью веяло от одинокой женской фигуры, что неслышно скользила меж поблекших деревьев...

Пройдет еще несколько быстрых лет, и Екатерина примет решение: «Что бы там о нас потом ни говорили, а мы давно ко всему готовы и не отступим даже перед самим чертом или дьяволом!»

Из неевского устья, распластав над морем косые паруса, мимо Ораниенбаума, канули в бурление осенних вод последние в эту навигацию корабли...

Первые радости кончились.

«Маленькая принцесса Фике, где ты?»

Занавес

Не так давно «С.-Петербургские ведомости» известили русских граждан, что «в Филадельфии господин Вениамин Франклин столь далеко отважился, что возжелал из атмосферы вытягивать тот страшный огонь, который часто целые земли погубляет». Дошло это и до императрицы Елизаветы, которая на всякий случай перекрестилась. Сейчас она переживала личную драму: не рассчитав своих психологических возможностей, царица окружила себя сразу четырьмя фаворитами. Первый был уже прискучивший граф Алексей Разумовский (и царица, как верная жена, заботливо удерживала его от запоев), второй – умный и скромный Ванечка Шувалов, третий – церковный певчий – бас Каченовский, а четвертый – милостивый юноша-тенор Никита Бекетов. Мы, читатель, не станем жалеть Елизавету, ибо в ее жизни возникали и более сложные ситуации, из которых она всегда выбиралась с незапятнанной репутацией. Но сейчас, в некотором смятении чувств, она просила Академию развлечь ее:

– Эвон, сказывали, будто в Америке ученый объявился, который из облаков электричество запросто собирает. А пошто наши хлеб даром едят и мне электричества еще не показали?

Газеты Европы глумились над Франклином, его опыты подвергали осмеянию – и только в России пресса и научный мир относились к Франклину с должным уважением. Одновременно с американским ученым в тайны атмосферного электричества проникали русские академики – Ломоносов и Рихман... Однажды, когда над столицей удушливо парило, Рихман в покоях императрицы показывал, как улавливается грозовая энергия. При сверкании молний, под мощные аккорды громоизвержений, из стеклянного шара с треском выскакивали искры; Елизавету даже сильно дернуло током... Она засомневалась:

– Чего доброго, а так и жизни можно лишиться. Ты, голубь, не устрой мне здесь пожара. А то я, по твоей милости, с торбой по миру пойду, да подаст ли мне кто?

Рихман просил царицу не пугаться напрасно:

– Мой коллега Маттиас Бозе даже наэлектризовал свою даму сердца, за что она поцеловала его, при этом Бозе ощутил на губах сильный удар электрического разряда, отчего в науке возникло новое приятное понятие – «электрический поцелуй».

Из лейденских банок сыпались голубые искры.

– А выгода-то с электричества будет ли?

Рихман сказал, что о выгодах говорить еще рано:

– Но мой опыт наглядно доказывает, что материя грома и молнии суть родственна материи электрической...

Елизавете, прямо скажем, повезло: Рихман улавливал токи небесные, даже не заземляя антенны, и счастье, что гроза в этот день была несильной, а то бы эксперимент мог закончиться трагически для Рихмана, бравшегося за провод голой рукою, и для самой императрицы, сидевшей близ лейденских банок.

...

Петербург уже имел три домашние лаборатории по изучению грозных разрядов. Одна была во дворце графа Александра Строганова, жившего подле Зимнего дворца на Невском; вторая – в доме Рихмана на углу Большого проспекта и 5-й линии Васильевского острова, а третья размещалась в доме генерала Бонна на 2-й линии, где квартировал великий муж российской учености – Михайла Ломоносов.

В один из жарких дней было заседание Академии наук, но вдруг над городом нависла мрачная туча. Рихман и Ломоносов сразу ушли домой, чтобы измерить ее электрическую силу. Рихман прихватил с собою и гравера Ванюшку Соколова:

– Зарисуешь, как выглядят опыты мои...

Рихман и Ломоносов встали около своих «громовых машин»; туча зловеще клубилась над Васильевским островом, не отдала даже капли дождя на город. В воздухе, раскаленном от напряжения, ощущался большой избыток природной энергии... Когда из провода посыпались первые искры, Ломоносова отвлекло появление в лаборатории жены с дочерью, звавших его обедать.

– Накрывайте на стол. Сейчас приду...

«И как я, так и оне беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались затем, что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня... Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я держал руку у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы я прочь шол. Любопытство удержало меня еще две или три минуты, пока мне сказали, что шти простынут».

Ломоносов был голоден – он проследовал к столу.

В это же время, шагая под железными цепями, развешанными на шелковых шнурках, Рихман предупредил Соколова:

– Отойди подальше, друг мой! Как бы тебя не...

Гравер сделал шаг в сторону; от железного прута отделился (неслышно и плавно) клубок огня величиною с яблоко, отливавший бледною синевою. Проплыв по воздуху, он едва коснулся лба Рихмана, и ученый – молча! – опрокинулся назад. Все произошло в удивительной тишине, но затем последовал удар вроде пушечного. Отброшенный к порогу, Соколов закричал от боли ожогов...

Ломоносов дохлебывал щи, как вдруг двери распахнулись и в комнату почти ввалился слуга Рихмана:

– Профессора громом зашибло... спасите!

Ломоносов бежал от 2-й линии до 5-й; в доме Рихмана его обступили рыдающие жена и мать ученого, испуганно глядели из углов дети. Под башмаками визжали осколки лейденских банок, а ноги скользили в медных опилках, которые были сметены вихрем разряда. Соколов суматошно гасил на себе прожженный кафтанишко.

– Жив? – спросил его Ломоносов.

– Бу-бу-бу-будто...

Ломоносов склонился над телом Рихмана. На лбу мертвеца запечатлелось красно-вишневое пятно («а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Нога и пальцы сини, и башмак разодран, а не прожжен...»). Ломоносов велел граверу:

– Зарисуй все, как было. Для гиштории сие полезно.

Он отправил письмо Ивану Шувалову: «... умер господин Рихман прекрасною смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет...» Невежественное шипение слышалось по углам вельможных палат, и неистовствовал пуще всех Роман Воронцов, которого Елизавета за его безбожное воровство и хапужество прозвала хлестко: «Роман – большой карман».

– Когда гром грянет, – бушевал ворюга, – креститься надобно, а не машины запускать, кары небесные на себя навлекая...

Этот Роман Воронцов был родным братом вице-канцлера Михайлы Воронцова, он имел двух дочек – Елизавету и Екатерину.

Елизавета скоро станет фавориткой Петра III.

Екатерина делается знаменитой княгиней Дашковой.

...

Заслоняя других куртизанов, все выше восходила трепетная звезда Ивана Ивановича Шувалова: молодостью, красотой и разумом он победил иных любимцев Елизаветы, оставшись в истории ее царствования самым ярким и памятным. Шувалов частенько повторял при дворе слышанное от Ломоносова, а слышанное от Ванечки повторяла уже и сама императрица...

Петр I неловко объединил под одной крышей Академию наук со школою – Ломоносов желал разъединить то, что не должно уживаться вместе, дабы Академия осталась гнездилищем научной мысли, а университет пусть будет школою всероссийской. Ученый настаивал перед фаворитом, чтобы во всех крупных городах заводились для юношества гимназии.

– Без них университет – как пашня без семян. А факультетов надобно иметь три, – доказывал Ломоносов, – юридический, естественный и философский. Зато теософского, каких в Европе уже полно, нам, русским, не надобно...

Шувалов просил у престола для создания университета 10 000 рублей ежегодно, на что Елизавета – прелюбезная! – отвечала:

– Ежели б не ты, Ванюшенька, а другой кто просил, фигу с маслом от меня бы увидели, потому как казна моя пустехонька. Ну, а тебе, друг сердешный, отказу моего ни в чем не бывало, и впредь не станется... Не десять – пятнадцать тыщ даю!

Елизавета доказала свою пылкую любовь к Шувалову именно тем, что не прошло и пол-года (!), как она, поборов природную лень, издала именной указ об основании первого русского университета.

Указ был подписан императрицей 12 января 1755 года – в день, когда справляла именины мать фаворита, звавшаяся Татьяной.

От этой-то даты и повелось на святой Руси праздновать знаменитый «Татьянин день» – веселый день российских студентов.

В бурной жизни великого народа появился новый герой.

Это был студент!

И писатель Михаил Чулков, автор первого в России романа о студенческой жизни, восклидал – почти в восхищении: «Смею основательно заверить тебя, мой любезный читатель, что еще не уродилось такой твари на белом свете, которая б была отважнее российского студента!»

Появилось и звание: Студент Ея Величества.

Действие второе. Студент ея величества

*Детина напоказ, натурою счастлив,
И туловищем дюж, и рожеею смазлив.
Хоть речью говорить заморской не умея,
Но даст, кому ни хошь, он кулаком по шее...
Которые, с тех пор как школы появились,
Неведомо какой грамматике учились!*

Ив. Мих. Долгорукий

1. Кормление и ученье

А в сельце Чижове все оставалось по-прежнему... Правда, появление сына доставило чете Потемкиных немало хлопот и огорчений. Гриц (так звали его родители) раньше всех сроков покинул колыбель и, не унизившись ползанием по полу, сразу же встал на ноги. Встал – и забегал! Сенные девки не могли уследить за барчуком, обладавшим удивительной способностью исчезать из-под надзора с почти магической неуловимостью.

Но зато не умел говорить. Даже не плакал!

Дарья Васильевна пугалась:

– Никак немым будет? Вот наказание господне...

Нечаянно Гриц вдруг потерял охоту к еде, и долго не могли дознаться, какова причина его отказа от пищи, пока конюх не позвал однажды Дарью Васильевну в окошко:

– Эй, барыня! Гляди сама, кто сынка твоего кормит...

На дворе усадьбы в тени лопухов лежала матерая сука, к ее сосцам приникли толстые щенятки; среди них и Гриц сосал усердно, даже урча, а собака, полизав щенят, заодно уж ласково облизывала и маленького дворянина...

Папенька изволил удивляться:

– Эва! Чую, пес вырастет, на цепи не удержишь...

Гриц еще долго обходился тремя словами – гули, пули и дули. На рассвете жизни напоминал он звереныша, который, насытившись, хочет играть, а наигравшись, засыпает там, где играл. Не раз нянька отмывала будущего «светлейшего» от присохшего навоза, в который он угодил, сладко опочив в коровнике или свинарнике. С раблезианской живостью ребенок поглощал дары садов и огородов, быстрее зайца изгрызал капустные кочерыжки, много и усердно пил квасов и молока, в погребах опустошал кадушки с огурцами и вареньями. Наевшись, любил бодаться с козлятами – лоб в лоб, как маленький античный сатир... Маменька кричала ему с крыльца:

– Оставь скотину в покое! Эвон оглобля брошена, поиграй-ка с оглоблей. Или телегу по двору покатай...

Ему было четыре года, когда он пропал. Дворянка облазила все закоулки усадьбы, девок послали в лес «аукать», парни ныряли в реку, шарили руками по дну, а отчаянно Дарья Васильевна не было предела. Опять беременная, с высоко вздернутым животом, она металась перед дедовскими черными иконами:

– Царица небесная, да на што он тебе? Верни сыночка...

А пока его искали, мальчик терпеливо качался на верхушке старой березы, с любопытством взирая свысока на людскую суматоху. С той поры и повелось: большую часть дней Гриц

проводил на деревьях, искусно прятался в гуще зелени. Там устраивал для себя гнезда, куда таскал с огородов репу, которую и хрупал, паря над землею на гибких и ломких сучьях.

Но говорить еще не умел! Наконец, словно по какому-то капризу природы, Гриц однажды утром выпалил без заминки:

– Сейчас на речку сбегая да искупаюсь вволю, потом на кузню пойду глядеть, как дядька Герасим лошадей подковывает...

Ему было пять лет. Отец срезал в саду розги:

– Заговорил, слава те, господи! Ну, Дарья, оно и кстати: пришло время Грицу познать науки полезные...

...

И появился пономарь с часословом и цифирью, которому от помещика было внушено, что за внедрение наук в малолетнего дворянина будет он взыскан мерою овса и пудом муки.

– А ежели сына мово не обучишь мудростям, – добавил майор Потемкин, – быть тебе от меня драну...

– На все воля господня, – отвечал пономарь, робея.

Взял он дощечку и опалил ее над огнем, чтобы дерево почернело. Мелком на доске показал Грицу, как белым по черному пишется. Началось ученье-мученье. Сколько ни бился пономарь, складам обучая, мальчик никак не мог освоить, почему изба – это не изба, а «ижица», «земля», «буки» и «аз».

– Изба-то – вон же она! – показывал на окошко.

– Так она в деревне ставлена, а на бумажке инако выглядит. Опять же дом – не дом, а «добро», «он», «мыслете»... Коли не осознал, так опять батюшку кликну с розгами, пущай взбодрит!

В чаянии овса с мукою долго старался пономарь, но обессилел, за что и был изгнан. Отец сам разложил перед собой пучки розог, раскрыл ветхость Симеона Полоцкого. Водя пальцем по строчкам, майор (с утра уже выпивший) бубнил сослепу:

Писах в начале по языку тому,
Иже свойственный бе моему дому.
Таже увидев многу пользу быти
Славенску ся чистому учити,
Взях грамматики, прилежах читати;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.